

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ

XX век: культура памяти

Материалы кмежрегиональной научной
конференции

«XX век: культура памяти

(рефлексии и образы)»

Пермь, 17 июня 2016 г.

**Пермь
2016**

УДК 008
ББК 71.1
Л 42

Ответственный редактор:

О. Л. Лейбович

Редколлегия:

А.И. Казанков, А.А. Лисенкова, М.М. Чудинова.

Л 42 **XX век: культура памяти:** Материалы к межрегиональной научной конференции «XX век: культура памяти (рефлексии и образы)». Пермь, 17 июня 2016 г. / отв. ред. О. Л. Лейбович; Пермский государственный институт культуры. – Пермь, 2016. – 144 с.

ISBN 978-5-91201-245-7

Сборник составлен на основе материалов участников межрегиональной научной конференции «XX век: культура памяти (рефлексии и образы)». Помимо статей, в сборнике представлены стенограмма конференции, лекция известного историка М.Б. Гнедовского о музейном наследии. Сборник будет интересен историкам, культурологам, а также широкому кругу читателей, интересующихся исследованиями культуры памяти в постсоветском обществе.

УДК 008
ББК 71.1

ISBN978-5-91201-245-7

© Пермский государственный
институт культуры, 2016

СОДЕРЖАНИЕ

Статьи

Г. Л. Тульчинский

Культура и память: содержание и технологии воспроизводства 4

М. Гнедовский

Трудное наследие в постсоветских музеях 12

А.Н.Кабачков, Н.В.Шушкова

Россия XXI век: национальное воображаемое..... 25

М. М. Чудинова

О новогодних фоновых практиках современных россиян
(гастрономический аспект) 40

К. Тройчун

«Все так и было»: советская реальность и кино 80-х гг.
в восприятии современников..... 48

Г. В. Сушек

Тоска по социалистическому реализму..... 58

В. Кутдусова

От коммуникативной памяти к культурной: новые тенденции в
немецкой культуре памяти..... 63

Стенограмма межрегиональной научной конференции
«XX ВЕК: КУЛЬТУРА ПАМЯТИ (РЕФЛЕКСИИ И ОБРАЗЫ)" 75

Сведения об авторах..... 127

Г.Л.Тульчинский

КУЛЬТУРА И ПАМЯТЬ: СОДЕРЖАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ ВОСПРОИЗВОДСТВА

Культура и память феномены намного более близкие, чем может показаться на первый взгляд. С одной стороны, культура – как система порождения, отбора, хранения и трансляции социального опыта – выступает как воспроизводимая и воспроизводящая память социума. С другой стороны – процесс социализации личности, как освоения ею социального опыта, покоится на индивидуальной памяти, удерживающей этот опыт. Наконец, собственно личность как источник, средство и результат культурного развития, в качестве носителя сознания, вмняемого субъекта, определяется именно и прежде всего по объему и качеству удерживаемого в ее памяти социально-культурного опыта.

Объем и качество памяти достаточно точные критерии интеллектуального и нравственного развития личности, ее уровня образования и профессиональной подготовки. Сам факт самосознания, свидетельство вмняемости личности выражается в способности вспомнить далекое и недавнее прошлое, имена и даты, собственную биографию, своих близких, отношения с ними, рассказать об этом...

Недаром подавляющее большинство практик самопознания (исповеди, дневники, автобиографии, воспоминания, «истории по жизни» и т.п.), так или иначе, но связаны с практиками воспроизводства памяти, рефлексии над ее содержанием, в виде рассказов, дискурсивного развертывания.¹ Аналогично и с исторической памятью социума, которая является важнейшим фактором консолидации социума, формирования культурной и гражданской идентичности каждого из его членов. Без нее не может быть ни социальной группы, ни государства, а согласие по поводу памяти прошлого – центральный, ключевой момент формирования идентичности: социальной, национальной, культурной.

Предлагая избегать слишком общие квалификации, Д.Белл говорит о формировании «больших мифов нации», различая память,

¹ См. Личность как автопроект // Философские науки. 2009. № 9. С. 5–78; № 10. С. 5–71. Скриптизация: откровение, укрывание и вмнение бытия // Философские науки. 2008, № 8, С. 25 – 145; № 9. С. 80–93; Тульчинский Г.Л. Истории по жизни. Опыт персонологической систематизации. СПб: Алетея, 2007.

как феномен исключительно индивидуального сознания, и пространство мифа (mythscape) – дискурсивную сферу динамичных подвижных нарративных конструкций.² О близком различии говорит и Д.Олик, предлагая две категории памяти – собирательной (collected) и коллективной (collective).³ Первая связана с социально-психологическими процессами (мотивацией, интересами индивидов), вторая – с общими идеями, институтами от интересов, способностей или действий индивидов не зависящих.

Однако, как представляется, простое различие социального и индивидуального аспектов исторической памяти, как некоей технологии и ее результата, недостаточно. Принципиальную роль имеет именно смысловое содержание, мифологический контент, используемый и формируемый. Похоже, что слухи о его подвижности сильно преувеличены. Нельзя отрицать относительную устойчивость того, что К.Юнг называл «архетипическим» – мифическими фреймами, возникшими на заре антропогенеза. Дело даже не в психических пределах подвижности и дивергенции. Между архетипами и современными мифами лежит пласт традиционной культуральной мифологии, отражающей и выражающей исторический культурный опыт народов. Это не пресловутая ментальность, а именно ценностно-нормативное содержание исторического опыта, образующего культурный код, обладающий большой исторической инерцией воспроизводства.

Содержание культурно-исторической памяти достаточно хорошо изучено и систематизировано. Это тематика истории происхождения народа, государства, откуда «есть пошла наша земля», славные *события* истории. С такими событиями связываются *места*, а также *даты*, позволяющие праздновать эти события, отмечать их юбилеи, приобщаться к ним. Главными персонажами при этом являются «*отцы – основатели*», *исторические деятели*, сыгравшие ключевую роль в формировании и развитии этноса. К ним примыкают *герои*, которым мы обязаны своим существованием, и которые являются образцами нравственного и поведенческого подражания. В «Пантеон» исторической наррации входят также деятели культуры, искусства, замечатель-

² Bell Dunkan S.A. Mythscapes: memory, mythology, and national identity // British Journal of Sociology. 2003. Vol.54, No.1, pp.65–66.

³ Olick J. Collective Memory. Two Cultures. // Sociological Theory. 199. Vol.17, No.3, pp.338–348.

ные труженики, спортсмены. Этот перечень дополняют изделия рук человеческих – как предмет особой гордости: от артефактов традиционных и этнографических искусств и ремесел – до достижений современной технологии.

Специального внимания заслуживает систематизация форм символической презентации культурно-исторической памяти. Разные исследователи уделяют им разное внимание, делая акцент на учебниках и учебных программах⁴, литературе, других видах искусства, традициях, массовых мероприятиях, ритуалах, праздниках⁵, прессе и других медиа, публичных спорах специалистов и журналистов⁶. По выражению А.Эткинда, они образуют «мягкую» (*software*) форму презентации, в отличие от «жестких» (*hardware*) такой презентации, к которым он относит музеефикацию, монументы, мемориалы, памятные знаки, архитектурные памятники, места исторических событий, связанные с жизнью замечательных людей⁷.

Следует подчеркнуть особую роль «жестких» форм презентации, задающих ориентиры в пространстве страны, регионов и поселений – маркеры привязки презентаций и нарративов к реальному чувственному опыту⁸. Любая мифология не только повествует, но и предполагает выходы мифического в мир с помощью специальных практик презентации, реализующих сопричастность мифическому: ритуалы, празднования, церемонии, реконструкции, инсталляции, перформансы, хэппенинги, игры. Поэтому представляется важным дополнить типологию А.Эткинда третьей формой – *хронотопом, событиями (specialevents)*, происходящими в специальное время в специальных

⁴Копосов Н.Е. Исторические понятия о мире без будущего. // Как мы пишем историю? / отв.ред.Г.Гарета, Г.Дюфо, Л.Пименова. – М.: РОССПЭН, 2013. – С.57–93.

⁵The Invention of Tradition. / Ed by E.Hobsbaum and T.Ranger. – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1983.

⁶См.: Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. – М.: КАНОН-пресс-Ц, Кучково поле, 2001.

⁷Эткинд А. Кривое горе. Повесть о непогребенных. – М.: НЛО, 2016. с.225–228.

⁸ЛопатинаС., Тульчинский Г. Публичные пространства в обществе массового потребления: гражданский и политический потенциал. // Топография популярной культуры / Ред.-сост. А. Розенхольм, И. Савкина. — М.: Новое литературное обозрение, 2015, с. 285–302.

местах и обеспечивающими возможность практической сопричастности – вплоть до интерактивных телесных практик⁹.

Показательно, что выделенные три формы презентации символического («мягкая» – интерпретационная; «жесткая» – материализованная в объектах; и «хронотопная» – событийная), в принципе, соответствуют трем кантовским априорным формам чувственности: пространству, времени и разуму, выступающим рамками, условиями самой возможности фактичности, распознавания чего-то в качестве факта и ориентации в окружающем мире. В этом ракурсе, теория и практика символической презентации прошлого обретают перспективу серьезного эпистемического, антропологического и онтологического основания.

В культурно-исторической памяти преимущественное внимание уделяется успехам, героизму и другим предметам гордости в историческом прошлом. Однако историческая память не может не включать в себя и трагедии, пережитые социумом горе, беду, ужас. Речь идет о темах печали, возможно – стыда, а то и того, что хотелось бы забыть, не думая о плохом. Не будучи включенными в историческую память, не осмысленные ею, эти темы образуют незалеченные травмы общественного сознания, его «невротичность», обусловленную невозможностью дистанцироваться от прошлого, зафиксировать его, уверенно жить дальше. Такое прошлое постоянно присутствует, вызывая навязчивые повторы.

Ярким примером такой невротичности является современное российское общественное сознание с его патологией незалеченных исторических травм, неопределенностью отношения к прошлому – как давнему, так и новейшему. Это проявляется не только на уровне искусства и СМИ, в радикальных пересмотрах учебников и учебных программ, но и в переименованиях городов и улиц, разрушении памятников, охранных зон, даже на уровне вынужденно замалчиваемых тем семейной памяти. В не столь давнем советском прошлом дело доходило до уничтожения и фальсификации документов – например, дат и причин смерти репрессированных.

Люди живут рядом, на той же территории, но у них нет ясного отношения к прошлому, его понимания, нет памяти общего страдания и

⁹См.: Герасимов С.В. Массовые праздники и социальное партнерство. СПб: Алетей, 2016.

освобождения от него. Каждая этническая, конфессиональная, профессиональная, политическая социальная группа культивирует свои версии прошлого, что приводит к идеологическим «войнам памяти», которые, в свою очередь, порождают новые и новые интерпретации. В результате прошлое оказывается не изжитым. Оно длится в настоящем, порождая страх возвращения, страх перед будущим. Прошлое сливается с будущим, парализуя настоящее.¹⁰

Ранее на материале армянского и еврейского народов была показана роль в их исторической памяти Великой жертве, грандиозной трагедии, причиненной Страшным Врагом, сплотившей каждый из этих народов.¹¹ Речь идет о геноциде как мощного фактора формирования национального самосознания. Возможно, этот пример объясняет и некоторые проблемы с формированием российского самосознания и идентичности. Так, образ Великого врага в отечественной истории носит «блуждающий», нефокусированный характер. Более того, вчерашний враг неоднократно становился другом, и – наоборот. В образе такого то ли друга, то ли врага» побывали Германия, Франция, Австрия, Англия, США, евреи, «лица кавказской национальности»... Проблема и с Великой Жертвой. Точнее, сама эта Жертва была, и неоднократно... Татаро-монгольское иго – это жертва, или это был опыт новой государственности? Великая Отечественная война – несомненно, великая жертва, великая Победа народа, присвоенная режимом... Большевицкая революция, Гражданская война, советский эксперимент, сталинский террор – Великая жертва. Но и тут возникают проблемы с ее осмыслением: во имя чего и кому она принесена.

Однако парадоксальность исторической памяти еще и в том, что, будучи акцентированной и культивируемой, она становится опасной, способствуя росту конфликтов, их обострению. Овладевая общественным сознанием, память старых обид ведет к тому, что терпимость и нелегкая работа прощения у потомков заменяется разберезиванием

¹⁰ Ассман А. Длинная тень прошлого. Мемориальная культура и историческая политика. М.: НЛО, 2014; Ассман А. Новое недовольство мемориальной культурой. М.: НЛО, 2016; Эткинд А. Кривое горе. Повесть о непогребенных. – М.: НЛО, 2016.

¹¹ Тульчинский Г.Л. Геноцид в национальном самосознании // От истоков к современности. 130 лет организации психологического общества при Московском университете. Сборник материалов юбилейной конференции: В 5 томах: Том 1 . 1 / Отв. ред. Богоявленская Д. Б. – М.: Когито-Центр, 2015, с. 130 – 132.

застарелых ран, решимостью отомстить за реальные или домысливаемые травмы. В результате историческая память несет не мир, но войну – нередко еще более трагическую, создающую новые пласты ненависти у новых поколений.

Так, в XIX столетии в связи с колониалистской экспансией возникла трактовка арабскими историками средневековых крестовых походов как проявления пагубных намерений западных стран по отношению к исламскому миру. А в наши дни это стало уже расхожим клише радикальных исламистов. В своей записанной через два месяца после терактов 11 сентября речи Усама бен Ладен связал начавшееся американское вторжение в Афганистан с продолжением войн крестоносцев против исламского мира. Более того, одним из проявлений этой злокозненности западных «крестоносцев» рассматривается возникновение и существование государства Израиль. То есть, крестоносцы предстают как прото-сионисты!

Убедительными примерами деконструктивности культивируемой исторической памяти, стимулирующей новые и новые витки недоверия и насилия, могут служить не только большая часть стран Ближнего Востока, но и страны бывшей Югославии, Северная Ирландия, Шри-Ланка, Украина.

Память может быть союзником справедливости, но это не очень надежный путь к миру и согласию, в то время, как забвение способно открыть такой путь. Хорошим примером может служить *Pacto del olvido* (пакт забвения) в Испании 1970-х между сторонниками и противниками генерала Франко после его смерти. В развитие идей пакта в 1977 году был также принят закон об амнистии, согласно которому убийства и зверства, совершенные с обеих сторон во время гражданской войны, были защищены от судебного преследования. В результате испанское общество не только смогло достичь политического урегулирования, но и успешно пройти путь демократической модернизации. При этом показательно, что при переименовании проспектов и бульваров, названных именами генералиссимуса и его окружения, использовались имена не республиканских героев и мучеников, а деятелей более давнего королевского прошлого Испании. Не менее показательно и то, что предпринятые в 2008 году известным судьей Б.Гарсоном усилия по расследованию гибели сотен тысяч людей, убитых фашистами за время гражданской войны и франкистского правления, эксгумации массовых захоронений, не нашли поддержку

высших судебных инстанций страны. Б.Гарсон был временно отстранен от судебной деятельности, и в 2014 году окончательно ушел в общественную деятельность. В этом же ряду можно отметить и отчаянные усилия правительства Н.Манделы и его сторонников по примирению постколониального социума Южной Африки.

В этой связи представляется важным различать в мемориальной культуре две логики: (А) память гордости победами, триумфами, и (В) память скорби, беды, жертв. Во втором случае речь может идти различных практиках.

Это могут быть практики забвения, замалчивания, что, как уже говорилось выше, вряд ли может рассматриваться как решение конструктивное и дальновидное. С ходом истории, а то и в современности будут найдены артефакты, свидетельства, порождающие недоверие и конфликты.

Это могут быть исторические и социологические исследования, переводящие соответствующие темы в плоскость научного анализа, объяснения с последующим «архивированием» этой памяти, изживанием прошлого на уровне научного осмысления, что не исключает, а даже предполагает включение результатов такого осмысления в учебные программы достаточно высокого уровня. Наконец, это могут быть символические презентации этой памяти, связанные или с глубокой рефлексией (сознательной скорбью и печалью), или без такой рефлексии (как просто нечто, достойное сожаления).¹²

Сказанное можно пояснить с помощью предложенной Х.Уайтом, К.Берком и продолженной В.Цымбурским модели выстраивания исторической наррации в соответствии с комическим и трагическим жанрами¹³ (Цымбурский, 2011). Немного модифицировав модель, можно говорить о четырех возможных «жанрах» презентации исторической памяти, в зависимости от двух пар их характеристик: презентации победы (торжества) или поражения (неудачи), которые подаются либо как сопричастность (идентичность) с данным содержанием, либо отстраненно, как чуждое.

¹²Рубцова О.В. Триумфальное и травматическое внутри городских практик меморизации: анализ постсоветского опыта. // Патриотизм, гражданственность, национализм: политические концепты в массовой культуре. Пермь: ПГГПУ, 2015, с.40–42.

¹³См.: Цымбурский В. Конъюнктуры Земли и Времени. Геополитические и хронополитические интеллектуальные расследования. М.: Изд-во «Европа», 2011.

- Гордость, радость и восхищение героизмом победителей, сопричастность победе.

- Неизбежность расплаты врага за временный успех.

- Скорбь, героизм мученичества как sacrifice – жертвы-во-имя-чего(кого).

- Трагизм рока, бессмысленного распада и хаоса, victim – жертва-от-чего (кого)-то.

Такое рассмотрение позволяет существенно систематизировать представления о содержании исторической памяти, а также – форм ее презентации. Формы презентации культурно-исторической памяти заслуживают особого внимания, в первую очередь – исследования диахронического плана, которые могут уточнить соотношение динамичных медийных презентаций с долговременной культурной памятью, а также с нарративами «средней динамики», транслируемыми в образовательных программах, сфере искусства.

Михаил Гнедовский

ТРУДНОЕ НАСЛЕДИЕ В ПОСТСОВЕТСКИХ МУЗЕЯХ¹⁴

Сто лет тому назад европейские музеи видели свою миссию в служении национальным государствам. Предполагалось, что они принимают активное участие в формировании национальной идентичности, прослеживая, настолько глубоко, насколько это возможно, корни национальной истории, и таким образом легитимируя нынешнее политическое устройство и границы государства. Представленное в таких музеях культурное наследие имело сугубо позитивные коннотации. Оно отражало все лучшее, что было в национальной истории, служило выражением истины, мудрости и красоты, свидетельством славных побед и достижений нации, ее вождей и героев.

Затем наступил XX век – с его трагедиями, войнами, насилием, жестокостью, несправедливостью и разрушениями. К концу века политическая карта Европы была несколько раз перекроена, и многим народам пришлось по-новому осмысливать и определять свою идентичность. Это была нелегкая ситуация для музеев. Один из уроков, который они вынесли, пытаясь найти для себя новую роль в этом изменившемся мире, заключался в том, что наследие – и, в особенности, недавнее наследие – может иметь негативные коннотации.

На пороге XXI века произошли кардинальные изменения в восприятии национальной истории и наследия. Стало понятно, что национальное наследие не является единым и неизменным, поскольку различные общественные группы, – не говоря о целых народах, – могут иметь разные воспоминания об одних и тех же событиях и, соответственно, могут по-разному к ним относиться. Благодаря этому в интерпретации истории возникают противоречия, которые отражаются на восприятии наследия и приводят к изменениям в понимании роли, миссии и деятельности музеев. В самом деле, там, где одни люди видят величие, мудрость и красоту, другие обнаруживают несправедливость, страдание и боль. Новая категория – противоречиво наследие (часто также назы-

¹⁴Трудноенаследиеобсуждаетсяздесьсначалавболееширокомконтекстеевропейских «ландшафтовпамяти», и лишь затем сужается до анализа музейных практик постсоветских и постсоциалистических стран. ОднакообсуждениеневыходитзапределыЕвропы.

ваемое «диссонантным наследием»)¹⁵ – добавила дополнительное изменение к описанию ландшафтов памяти.

При таком подходе ключевым становится вопрос «Чье наследие?». И дело не только в том, чей опыт это был в прошлом, но и в том, чьи это воспоминания в настоящем. Противоречие или диссонанс возникает главным образом в ходе интерпретации исторических событий различными группами, которые дают разные, часто конфликтующие между собой оценки прошлого, основываясь на своей сегодняшней повестке. Таким образом, наследие стало пониматься как чье-то наследие, неотделимое от определенного нарратива или интерпретации, связывающих его с настоящим.

Понятие «сообществ, генерирующих наследие» (“heritagecommunities”) – в противоположность универсальному «национальному наследию», которое, нужно признать, всегда имело метафизический привкус, – получило международное признание благодаря Рамочной Конвенции Совета Европы о значении наследия для общества (*Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society*), известной также как Конвенция Фару.¹⁶ Принимая этот документ, европейские страны пришли к соглашению, что историческая память может быть множественной и, тем самым, в каких-то случаях, противоречивой. Из формулировок Конвенции также следует, что сообщества, генерирующие наследие, могут быть интернациональными.

Еще одна категорией, введенной в оборот в начале XXI века, стало «трудное наследие».¹⁷ Речь идет о наследии такого исторического периода или таких исторических событий, которые вызывают неудобные воспоминания или выглядят постыдными в глазах современных людей. Так, большинство жителей Германии, Австрии и некоторых других ев-

¹⁵ См.: J. E. Tunbridge and G. J. Ashworth, *Dissonant Heritage: The Management of the Past as a Resource in Conflict*, Chichester: John Wiley, 1996. Термин «диссонантный» очевиден заимствован из музыки; примечательно, что диссонанс считается отличительной чертой музыки именно XX века.

¹⁶ Конвенция была принята в португальском городе Фару в 2005 году, и вошла в силу в 2011 году. Постсоветские страны, в которых Конвенция уже ратифицирована, включают Армению, Грузию, Латвию, Молдавию и Украину. См. также: *Heritage and beyond*, Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2009.

¹⁷ См.: Macdonald, Sharon, *Difficult Heritage: Negotiating the Past in Nuremberg and Beyond*, London: Routledge, 2009. См. также: Logan, W., Reeves, K., eds. *Places of Pain and Shame: Dealing with 'Difficult' Heritage*, London: Routledge, 2009.

ропейских стран не хотели бы, чтобы такие явления как фашизм, нацизм или Холокост ассоциировались с их историей и, тем самым, становились частью их сегодняшней идентичности. Поэтому трудное наследие часто называют также «нежелательным» или «неудобным» наследием. Сталкиваясь с таким наследием, трудно преодолеть искушение стереть все следы, оставленные травматическими событиями, удалить их из коллективной памяти. На это была, в частности, направлена политика денацификации, проводившаяся в Германии после Второй мировой войны, и предполагавшая физическое удаление (а затем и законодательное запрещение) нацистских символов.

Однако не так-то просто (и, возможно, неправильно) забывать травматические события. Их можно вычеркнуть из официальной истории, но не из личной или семейной памяти. Это в равной мере касается и жертв, и тех, кто совершал злодеяния. Кроме того, даже если стратегия умолчания успешно работает в первом поколении, которое пережило или стало свидетелем травматических событий, память может вернуться, как бумеранг, во втором или третьем поколении, как это и случилось в Германии, где дети, родившиеся уже после войны, стали задавать родителям «неудобные» вопросы.

Категории диссонантного и трудного наследия возникли как средство объяснения бурных событий XX века. Вначале область их применения ограничивалось, главным образом, анализом ландшафтов памяти в странах, переживших фашизм, и в постсоветских странах. Вскоре, однако, их стали применять и в других контекстах. Так, европейские музеи военной истории, которые традиционно были сосредоточены на демонстрации славных побед, стали уделять внимание не только героям и полководцам, но также (и даже в большей степени) травматическому опыту рядовых солдат, военнопленных, перемещенных лиц, гражданского населения, женщин, детей и т.д.¹⁸ Наряду с Германией, другие европейские страны признали, что в них существовали концентрационные лагеря, и раскрыли эти страницы своей истории в музейных экспозициях. Так, широкой публике стали известны подробности созда-

¹⁸Эту тенденцию хорошо иллюстрирует британский Имперский музей военной истории и, в особенности, проекты, реализуемые на двух его основных площадках, расположенных в Лондоне и Манчестере. Формулируя свою миссию, музей обещает показать, «как война влияет на судьбы людей», и, в самом деле, все его постоянные и временные экспозиции демонстрируют и анализируют воздействие военных событий на различные группы людей – как солдат, так и гражданского населения.

ния и работы британских лагерей для интернированных граждан иностранных государств, существовавших в периоды Первой и Второй мировых войн на острове Мэн¹⁹; или лагерей, в которых в течение шести лет после окончания Второй мировой войны содержались 12 000 жителей Молуккских островов и члены их семей, которые были по ошибке вывезены в Нидерланды²⁰. Эти лагеря были, конечно, гораздо мягче, чем нацистские концентрационные лагеря, однако сам факт и детали их существования не были известны широкой публике в этих странах в течение нескольких десятилетий.

Таким образом, на переломе столетий миссия европейских музеев существенно изменилась. Обратившись к «трудному наследию», музеи включили в зону своей ответственности человеческие трагедии и гуманитарные катастрофы, расширили палитру выразительных средств и методологию интерпретации истории, и стали местом, где различные общественные группы могут вести диалог о прошлом. Вскоре такой подход вышел за границы истории XX века. Оказалось, что новая методология применима и для более ранних периодов, например, для демонстрации феномена рабства и работорговли в Международном музее рабства, недавно открывшемся в Ливерпуле²¹; или интерпретации трагических событий времен Великой французской революции, унесших сотни жизней в Вандее²².

¹⁹В последние годы в Музее острова Мэн прошла серия выставок, посвященных британским лагерям для интернированных лиц, существовавшим на острове как в Первую, так и во Вторую мировую войну. Например, в 2015 году здесь открылась выставка об одном из лагерей периода Второй мировой войны, где в течение пяти лет содержались 3 500 женщин и детей.

²⁰История голландских лагерей для молуккцев (1951–1957) была в первые представлены в Музее под открытым небом в Арнеме, куда в 2003 году перевезли последние сохранившиеся от этих лагерей бараки. На открытие этой экспозиции съехались тридцать тысяч потомков содержавшихся в этих лагерях молуккцев – ныне граждан Нидерландов. Это – редкий пример обращения к «трудному» эпизоду национальной истории XX века в музее под открытым небом, поскольку традиционно музеи такого типа ограничиваются демонстрацией романтических картин крестьянского быта XIX века. Благодаря этому ряду других смелых проектов Музей под открытым небом в Арнеме был назван Лучшим европейским музеем 2005 года.

²¹Музей открылся в 2007 году, ровно через 200 лет после того, как в Англии была официально запрещена работорговля.

²²Любопытно, что на открытии Мемориала в Ле-Люк-сюр-Булонье в 1993 году присутствовал Александр Солженицын. В 2006 году здесь был также открыт Музей истории Вандеи (Historial de la Vendée).

События, о которых рассказывают эти музеи, отстоят от нашего времени более чем на два столетия, однако сами музеи созданы совсем недавно. Подход, сделавший возможным их появление, сформировался только в начале XXI века. В этот же период появляются и первые международные ассоциации музеев, работающих с «трудным» наследием. Так, Международная коалиция мест совести (*International Coalition of the Sites of Conscience*) была создана в 1999 году; Международный комитет музеев памяти жертв государственных преступлений ИКОМ (*International Committee of Memorial Museums in Remembrance of the Victims of Public Crimes*) – в 2001 году; Федерация международных музеев прав человека (*Federation of International Human Rights Museums*) – в 2010 году; и Платформа европейской памяти и совести (*Platform of European Memory and Conscience*) – в 2011 году. Поиск концепций этих организаций привел к появлению понятия «музей совести», которое охватывает широкий круг музеев, работающих с трудным наследием, – от музеев рабства до музеев нацистских концлагерей.

Очевидно, что наиболее трудным является наследие, оставленное недавними политическими событиями. Примером могут служить события последней четверти XX века в Северной Ирландии. Конфликт, начавшийся в конце 1960-х, до сих пор не удалось окончательно погасить, и в Белфасте по-прежнему существуют и стена, разделяющая кварталы юнионистов и националистов, и граффити, соперничающие в ненависти к оппонентам. И хотя террористические акты, совершенные террористами совсем другого рода и другого поколения, отчасти заслонили в сознании британского общества угрозу, еще недавно исходившую от Временной ирландской республиканской армии, музеи Великобритании все еще подходят к этой теме с большой осторожностью. Похожая ситуация наблюдается и на Балканах, где память о недавних вооруженных конфликтах между странами, входившими в состав Югославии, является еще слишком живой, и музеи пока не решаются поднимать эти проблемы.

Решающую роль в интерпретации трудного наследия играет историческая дистанция. Бои, происходившие в течение четырех месяцев 1918 года на улицах города Тампере и известные как главное сражение Гражданской войны в Финляндии, были очень хорошо документированы. Около двадцати профессиональных фотографов вели съемку сражений, а директор городского музея выходил каждый вечер на улицы и собирал все, что оставили воюющие между собой стороны –

Красные и Белые. Однако понадобилось 90 лет, чтобы эти материалы можно было представить широкой публике. Как объясняют кураторы расположенного в Тампере современного Музейного центра *Vapriikki*, события Гражданской войны были долгое время слишком живы в общественной памяти, так как практически в каждой семье были жертвы либо с одной, либо с другой стороны. Профессиональная трудность для работников музея заключалась в том, чтобы интерпретировать эти травматические события, не солидаризируясь ни с одной из сторон, но показывая, что каждый шел в бой за свою правду.

Экспозиция «Тампере 1918», которая в конце концов открылась в 2008 году, стала настоящим актом общественного примирения. В день открытия представители двух главных в Финляндии политических партий, – ведущих свою историю от Красных и Белых, – прошли вместе мирным маршем по всему городу. В 2011 году экспозиция «Тампере 1918» получила специальный приз жюри Конкурса «Лучший европейский музей года» за «беспрецедентный по своей смелости проект, посвященный трудному моменту истории, который на протяжении почти столетия был предметом противоречий в финском обществе».²³

Судя по всему, историческая дистанция в 90 лет, в течение которых в обществе могут улечься эмоции (а именно это случилось в случае Гражданской войны в Финляндии), определяет границу «еще не остывшей» истории. События, происходившие менее 90 лет тому назад, воспринимаются как более осязаемые, поскольку рассказ о них можно еще услышать из уст родителей, дедушек, бабушек или людей их поколения, которые были их участниками, свидетелями или, по крайней мере, современниками. Но то, что происходило раньше этого срока, воспринимается уже как «преданья старины глубокой». Поэтому сегодня легче выработать взвешенный взгляд на американское рабовладение или даже на российское крепостное право, чем на историю советского времени, которое все еще живо в личной или семейной памяти.

Окончание холодной войны и распад Советского Союза были, без сомнения, самыми значительными политическими событиями послед-

²³ См.: *Tampere 1918: A Town in the Civil War*, Tampere Museums, Museum Centre Vapriikki, 2010. В книге представлена обширная (и прекрасно изученная) коллекция материалов по Гражданской войне в Финляндии.

него десятилетия XX века. Они привели к стремительным переменам в идентичности многих европейских наций. Первой реакцией новых постсоветских – и, шире, постсоциалистических – стран было отторжение недавнего прошлого и уничтожение всего, что воспринималось как наследие только что закончившейся эпохи. Свержение с постаментов памятников коммунистическим лидерам, переименование улиц, площадей и даже городов, удаление советской символики с фасадов зданий – все это свидетельствовало о спонтанных попытках забыть недавнее прошлое, освободиться от него навсегда.

Со временем, однако, на постсоветском пространстве появились и иные стратегии памяти, действующие в широком диапазоне – от полного отрицания и забвения наследия советской эпохи до его бережного сохранения, изучения и интерпретации.

Стремительное развитие политических событий в конце 1980-х – начале 1990-х годов стало неожиданностью для советских музеев и музеев социалистических стран. Их первой реакцией было смещение фокуса внимания с советского на досоветское прошлое; это заставляло музеи возвращаться в одних случаях на сорок, а в других на семьдесят лет назад. Так, в первой половине 1990-х годов многие российские музеи демонтировали идеологически нагруженные советские экспозиции, заменяя их идиллическими сценами из жизни аристократии, купечества или крестьянства в дореволюционной России. И это были не просто попытки чем-то заполнить вакуум, оставшийся после устранения советского пропагандистского нарратива. В этом также прочитывалась ясная, хотя, быть может, и наивная мысль: вот Россия, которую мы хотим помнить, вот наследие, которое мы ценим, принимаем и хотим, чтобы именно оно было частью нашей сегодняшней идентичности.

Параллельно развивалась и другая стратегия, связанная с интересом к тем скрытым пластам советской культуры, которые существовали в тени советской идеологии. Характерной чертой перестроечного периода стал интерес к различным аспектам неофициальной культуры советского времени – тому, что балансировало на грани дозволенного или было прямо запрещено советской цензурой. Скрытые сокровища советской подпольной (или, как говорили в то время, «неформальной») культурной сцены – фильмы, в течение долгих лет лежавшие «на полке», стихи и романы, написанные «в стол», картины, никогда не покидавшие мастерских художников, песни, которые можно было

услышать только на «квартирных» концертах и т.д. – все это вдруг стало доступно и интересно не только узким кружкам посвященных, но и самой широкой публике. Многие музеи включились в этот процесс реабилитации неофициального наследия советской эпохи, открывая свои запасники, обращаясь к проблемам и темам, которые еще недавно были под запретом.

Еще одна стратегия была связана с освоением мировой культуры и, в особенности, наследия XX века, включая культуру русского зарубежья. С падением «железного занавеса» в бывших советских и социалистических странах начался процесс знакомства широкой публики с культурными и художественными явлениями, о которых прежде было известно лишь благодаря тенденциозным интерпретациям или не известно вообще. Музеи также активно способствовали открытию имен, явлений, художественных течений и т.д., заполнявших исторические лакуны, и устранявших «белые пятна» в масштабной исторической картине XX века.

Вместе с тем, эта вновь обретенная открытость вкупе с введением рыночной экономики, приводили к наплыву нового содержания, новых культурных и бытовых продуктов и, в конечном счете, к стремительному изменению всего образа жизни.²⁴ Советский образ жизни, с его символикой, ритуалами, привычками, языком и предметной средой стремительно уходил в прошлое. Все более редкие остатки советской повседневной культуры стали потенциальным источником ностальгии для тех, кто вырос в советское время, загадочной территорией для представителей первого постсоветского поколения и предметом туристического интереса для иностранцев. В результате музеи начали собирать предметы советского времени так, как прежде собирали археологические или этнографические коллекции, – как свидетельства жизни иной цивилизации или экзотического племени, с его особыми верованиями, ритуалами, институтами, искусством и т.д.²⁵

²⁴ Были, конечно, и другие факторы – такие как информационная революция и развитие постиндустриальной экономики, – которые повлияли на быстрое изменение образа жизни в глобальных масштабах. Эти факторы, несомненно, еще ускорили темпы перемен, происходивших в постсоветских странах в 1990-е годы.

²⁵ Здесь можно привести в качестве примера проект с характерным названием «Советская Атлантида», который был задуман, хотя и не реализован, в конце 1990-х годов.

Хорошим примером такого подхода может служить созданный в 2006 году в Берлине Музей ГДР, который пользуется необыкновенной популярностью у туристов. Его экспозиция, во многом ироничная, демонстрирует особенности повседневной жизни Восточной Германии. Другой пример – Музей советского быта, который открылся в 2011 году в Казани. Этот музей обещает посетителю «только положительные эмоции». В его экспозиции представлена обширная коллекция повседневных вещей, пропагандистских изданий и произведений соцреализма, а тематические выставки посвящены советской школе, подпольной рок-музыке советского времени и т.д. Аналогичные музеи можно найти и в Польше, например, Галерея соцреализма в Музее Замоиских в Козлувке, или Музей Польской Народной Республики в местечке Руда Шленска, который предупреждает посетителя, что экспозиции его «совершенно аполитичны».

Как свидетельствуют эти и многие другие примеры, наследие советского времени не обязательно относится к категории «трудного» наследия. Даже раздел экспозиции Музея ГДР, повествующий о работе секретной полиции Штази, где за посетителем вначале «следят», а затем его «арестовывают» и «допрашивают», напоминает скорее веселое приключение в Диснейленде. И хотя экспозиция основана на подлинных предметах и фактах, легкий игровой нарратив, предложенный музеем для их интерпретации, весьма далек от трагедии.

Совершенно иная атмосфера царит в Доме террора, который открылся в 2002 году в Будапеште. Этот музей находится в здании, где в свое время располагались штаб-квартиры вначале про-нацистской, а затем просоветской тайной полиции. Архитектура здания, которое подверглось серьезной реконструкции, и дизайн экспозиций музея направлены на создание атмосферы ужаса, сопровождающей рассказ о творившихся здесь жестокостях. Задача музея – представить механизмы политического насилия и контроля, которому в XX веке подверглось венгерское общество со стороны двух режимов. Музей говорит от имени жертв, возлагая на «оккупантов» вину за многочисленные преступления.²⁶ Как видно на этом примере, трудное наследие легче объ-

²⁶ Домтеррорачастокритикуютзато, чтовегоэкспозициипреуменьшаетсяроль венгров, которые сотрудничали с оккупационными режимами. См.: *Marszovszky, Magdalena, "Die Märtyrer sind die Magyaren". Der Holocaust in Ungarn aus Sicht des Hauses des Terrors in Budapest und die Ethnisierung der Erinnerung in Ungarn. In Globisch, Claudia; Pufelska, Agnieszka; Weiß, Volker. Die Dynamik der europäischen* 20

яснить и принять, если источником травматического опыта является внешняя сила.

Похожая идея последовательных оккупаций – в данном случае, сначала советской, затем нацистской, и затем снова советской – была положена в основу Музея оккупации Латвии, открывшегося в 1993 году в Риге. В отличие от Венгрии, Латвия была частью Советского Союза, однако, получив независимость, она столкнулась с проблемой интерпретации советского наследия.²⁷ Десять лет спустя этому примеру последовали в трех других постсоветских странах: Музей оккупации открылся в 2003 году в Таллинне; Музей советской оккупации был создан в 2006 году как часть Грузинского национального музея в Тбилиси; и Музей украинского отделения общества «Мемориал» в Киеве был в 2007 году переименован в Музей советской оккупации.

Таким образом, в некоторых постсоветских странах сложилась определенная модель музея, посвященного трудному наследию советского времени. Цель создания этих музеев заключалась в том, чтобы представить и объяснить историю советского периода как часть истории своей страны, и при этом дистанцироваться от недавнего прошлого в ситуации поиска и формирования новой национальной идентичности. Неудивительно поэтому, что эти музеи представляют наиболее трудные и проблематичные аспекты советской истории, рассказывают о практике систематического террора, о загубленных жизнях, но также и о решимости, мужестве и сопротивлении тех, кто имел смелость противостоять террору. Их задача – утвердить гуманитарные ценности и ценность человеческой жизни в обществе, которое еще недавно пренебрегало этими ценностями.

Сам термин «оккупация», конечно, не совсем точен – особенно в случае Грузии и Украины, которые были частью Советского Союза в течение семидесяти лет, – и используется, скорее, в метафорическом смысле. А вот термин «советский», напротив, чрезвычайно важен, так как он позволяет избежать искушения перевести проблему в плоскость этнических взаимоотношений. В самом деле, говоря «советский», а не «русский» или «российский» (или, в другом случае, «нацистский», а

Rechten. Geschichte, Kontinuitäten und Wandel. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2011, pp.55–74.

²⁷Характерно, что музейпомещаетсявзданиибывшегоМузеялатышскихстрелков, построенном в 1971 году к столетию В. И. Ленина.

не «немецкий» или «германский»), создатели этих музеев не совершают ошибки, которую бы, вне всякого сомнения, совершили музеи XIX века. Они лишь утверждают, что все постсоветские страны, включая Россию, стали жертвами (или были «оккупированы») не другой нацией, но жестокой политической машиной, созданной большевиками в период между Первой и Второй мировыми войнами.

В России ведущая роль в изучении «темных сторон» советского прошлого принадлежит Обществу «Мемориал». В течение почти тридцати лет работы здесь были собраны уникальный архив и музейная коллекция, которые используются в просветительских целях. Хотя у «Мемориала» нет постоянной музейной экспозиции, он на протяжении многих лет создавал, в различных партнерствах, многочисленные выставки в России и за рубежом. Его коллекции и экспертиза востребованы во многих российских музеях, которые занимаются изучением темы террора и политических репрессий в Советском Союзе: Сахаровском центре, Музее «Пермь-36», Музее «Тюрьма НКВД» в Томске, недавно открывшемся в новом здании московском «Музей Гулага», в других российских музеях, работающих с трудным наследием.

В современной российской музейной практике преобладают две линии интерпретации советского наследия: первая предполагает легкую, политически не ангажированную презентацию советской повседневности, свободную от критики и часто окрашенную в ностальгические тона;²⁸ вторая настаивает на необходимости политической и моральной оценки советской системы террора и насилия, демонстрации ее масштабов, жестокости и способности проникать во все сферы общественной жизни. Однако между этими двумя полюсами находится множество музеев, посвященных самым различным темам: культуре и искусству, науке и технике, естествознанию и местной истории. Все они рассказывают свои истории, и очень часто это истории, относящиеся к советскому времени. Такие рассказы могут выглядеть как политически нейтральные, невинные, на поверхности не имеющие отношения к политическим репрессиям, однако на поверку часто оказывается, что в них скрыта драма, прямо связанная с обстоятельствами жизни в

²⁸ Впрочем, граница между ностальгией по советскому прошлому и буквальным принятием советских политических символов является довольно зыбкой. Являются ли портрет Сталина на стене или плакат, призывающий к бдительности, просто деталью, украшением типичного советского интерьера?

тоталитарном государстве. Потому что никакая профессия, никакая должность и никакое место жительства в Советском Союзе и социалистических странах не служили гарантией защиты от репрессивной машины.

Постсоветским музеям предстоит еще научиться рассказывать такие истории во всей их сложности и полноте. Пока они только приступили к осмыслению событий XX века, где центральное место занимает советский период. Нет никаких сомнений, что это было время выдающихся художественных достижений, научных открытий и технических изобретений. Но это было также и время жизни нескольких поколений, отмеченное чрезвычайной жестокостью, ненужными жертвами, несправедливостью, человеческим горем и болью. Как соединить все это в одном повествовании? И это не только академический вопрос. Потому что по-прежнему есть люди, которые видят в советском прошлом только позитивные стороны и хотели бы сделать его моделью для будущего. Интерпретация советского наследия – совсем не невинная игра, а дело, требующее изрядного мужества, честности и профессионализма.

Отсутствие согласия в интерпретации советского наследия – не единственная проблема в этой области. Важнейшим препятствием на пути всех попыток объяснить недавнее прошлое является Большой советский нарратив, с помощью которого режим узаконивал и объяснял себя сам. Это был очень мощный нарратив, который развивался на протяжении семидесяти лет. К его созданию и укреплению были привлечены лучшие умы и художественные силы советской эпохи – советские писатели, поэты, журналисты, актеры, художники, музыканты и т.д. Всем им разрешалось заниматься своей профессией при одном условии: что они используют свой талант для поддержки и укрепления режима. Все, что они должны были делать, это изображать жизнь в Советском Союзе как самую гуманную, справедливую и привлекательную.

Это была очень эффективная политика. Магия Большого советского нарратива, – который составляет значительную часть советского наследия и по-прежнему владеет умами и сердцами многочисленных зрителей, слушателей и читателей, – до сих пор не потеряла своей силы. Бывает так трудно поверить, что этот красный комиссар или секретарь райкома, который был таким мудрым, добрым и справедливым в фильме, может быть в ответе за какие-то преступления и тем более

за террор и массовые убийства своих сограждан. Любые такие заявления, противоречащие советским истинам, подкрепленным советской пропагандой и советским искусством, создают эмоциональный диссонанс, с которым трудно бороться. Альтернативный нарратив должен быть очень убедительным, чтобы победить в этом состязании.

Дело усугубляется еще и тем, что музеи сами принимали участие в создании Большого советского нарратива. Советский режим рассматривал музеи как инструмент пропаганды, и в том, что касалось интерпретации советской истории, они должны были играть по очень строгим правилам, определенным Кратким курсом истории ВКП(б) 1938 года или более поздними версиями аналогичных текстов. Кроме того, сами коллекции по советской истории, формировавшиеся в советское время, состояли почти исключительно из материалов, целенаправленно созданных для самооправдания режима.

Все это оказало глубокое влияние на деятельность и методологию музеев. Поэтому сейчас они стоят перед необходимостью пересмотреть не только нарратив, но и всю догматическую систему работы и методологию советского времени. Выход, судя по всему, заключается в активном сотрудничестве музеев с современными творческими профессионалами с целью создания принципиально новых нарративов, проливающих свет на наследие XX века

А.Н.Кабацков
Н.В.Шушкова

РОССИЯ XXI ВЕК: НАЦИОНАЛЬНОЕ ВООБРАЖАЕМОЕ

Проблематику изучения нации как воображаемого сообщества сформулировал Б. Андерсон. Он определил нацию, как «... воображенное политическое сообщество, и воображается оно как что-то неизбежно ограниченное, но в то же время суверенное»²⁹. Он же связал способы воображения с книгами, газетами, литературным языком, т.е. инструментами и технологиями массового воспроизводства специфических способов мышления. В отличие от эталонных европейских обществ, история формирования российской (русской) нации насчитывает несколько попыток сконструировать национальное воображаемое.

В исследования А. Тесля генезис «русского национализма» рассматривается в контексте социальной и интеллектуальной истории XIX века: «... именно у славянофилов все эти «чувства» и «настроения» оказываются предметом рефлексии – и формируется первая версия «русского национализма» как проекта «быть европейцами», быть «европейской нацией» (поскольку ведь нельзя быть «европейцем вообще» – а лишь англичанином, французом или немцем и уже в силу своей «английскости» принадлежать к числу «европейцев»)»³⁰.

Советскую версию конструирования национального сообщества описали Е. Добренко и Д. Брандербергер. Е. Добренко подчеркивал значение политических и идеологических факторов, повлиявших на трансформацию проекта «социализма» в систему идеологического контроля за формой и содержанием социального воображения: «...в революционной (политической) культуре социализм был прежде всего политическим и экономическим проектом, тогда как в сталинской (деполитизированной) культуре он стал проектом сугубо репрезентаци-

²⁹ Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М. 2001. С. 28

³⁰ Тесля А. Первый русский национализм... и другие. М. Изд-во «Европа». 2014 // [Интернет ресурс Rulit]. – Режим доступа: <http://www.rulit.me/books/pervyj-russkij-nacionalizm-i-drugie-read-336489-1.html> (Дата обращения: 14.10.2016)

онным»³¹. Д. Брандербергер развивает тему мировоззренческого поворота в 1930-х годах, исследуя конкретно-исторические формы и методы реализации проекта конструирования новой воображаемой общности «советский народ», руссоцентристской по своим культурным доминантам³².

Этнические образы советского мира были иерархичны. Доминирующее положение занимали эталоны социальной, исторической и культурной идентификации русской народности. Образ «большого брата», оказывающего просветительскую помощь этническим группам, живущим на окраинах цивилизованного мира, создавался в школе и поддерживался советской идеологией. «Большой брат» выступал также в роли освободителя от «колонизаторов», защитника от внешних врагов, культуртрегера и просветителя. Он предьявлял «правильные» образцы поведения, обязательные для всех.

В позднюю социалистическую эпоху этнические образы проявляли себя слабо. В середине XX века политические механизмы регулирования этнических процессов существенно обновляются, приобретая вид квотирования должностей, регулирования доступа к образованию; при этом частично сохраняется сталинское наследие: пятая графа в паспорте и властный антисемитизм.

В период позднего социализма, этнические стереотипы закрепились в повседневной культуре, приобретая характер устойчивых поведенческих и вербальных комплексов (анекдоты, стигматизирующие номинации и т.д.). Шел процесс сближения политической линии и повседневной культуры. По мнению В. Шляпентоха, «включение националистических элементов обеспечивало жизнеспособность идеологии до 1987 г.»³³.

Социальная катастрофа 1991-1993 гг. разрушила политический порядок советского общества и подвергла ревизии правила коллективного общежития. Марксистская традиция анализа социальных конфликтов, позволяет трактовать подобные ситуации в буржуазных об-

³¹ Добренко Е. Политэкономика соцреализма. М.: Новое литературное обозрение, 2007. С. 5.

³² Бранденбергер Д. Л. Национал-Большевизм. Сталинская массовая культура и формирование русского национального самосознания (1931-1956): Академический проект, Издательство ДНК; СПб; 2009

³³ Shlapentokh V. A Normal Totalitarian Society. New York, London. 2001. P. 7.

щества в качестве «революционных», где на смену «разбитой государственной машине» должна прийти подлинной демократией³⁴.

В российском обществе классового конфликта не случилось. Для него в ситуации 90-х гг. XX еще не сформировалось социальной базы. Горожане, поодиночке переживающие крушение социального порядка, чувствовали сильнейшую отчужденность от прежних практик социальной солидарности. При всех наблюдаемых явлениях социальной ностальгии, возобладало, в сознание горожан, критическое отношение к ценностным установкам советской идеологии, в том числе в сфере национальных отношений.

Вместе с крахом советской идеологии, с утратой легитимности «скреп» которыми была сшита воображаемая общность «советского народа», утратили свое значение ориентиры интернационализма. На их место пришли прагматические ценности, от которых зависело индивидуальное выживание. Речь идет об «экономизме» новой культуры, о признании в качестве культурной и социальной доминанты экономических ценностей. Деньги и потребление, конкуренция и предпринимательство символически репрезентировали новые образцы буржуазной культуры, и, одновременно, создавали новые основания для социальной иерархии, побуждая распознавать «своих» и «чужих» по новым правилам.

Опротечиво будет свести перемены в социальном мышлении к процессам механического замещения образцов социалистической культуры на буржуазные модели экономической рациональности. Исследования социологов зафиксировали сохранение элементов социального воображения советских людей в новых обстоятельствах. Суждение Ю. Левады о том, «... что, собственно, человек, которого мы условно обозвали “советским”, никуда от нас не делся»³⁵, получало многочисленные подтверждения. Массовые опросы, проведенные в 1989, 1994, 1999, 2003, 2008 годах Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) а затем, после вынужденной реорганизации, Левада-Центром, регулярно обнаруживали архаизацию ценностного и символического мира, используемого людьми в каче-

³⁴ Ленин В.И. Государство и революция. Полное собрание сочинений. 5-е изд. М.: Политиздат, 1974. Т. 33. С. 1—120.

³⁵ Левада Ю. «Человек советский» - публичные лекции на «Полит.ру». <http://polit.ru/article/2004/04/15/levada/>. (Дата обращения: 15 мая 2016)

стве образца для социального ориентирования в повседневной жизни. Юрий Левада предложил социологическому сообществу использовать теоретический концепт «советского человека» в качестве идеальной модели, влияющей на реальную социальную практику людей. Эмпирические данные подтверждали, что культурное наследие советского прошлого, закрепленное в памяти нескольких поколений, становилось реальным фактором социального конструирования новой реальности³⁶.

В работах Гарольда Зборовского вышеуказанное явление было идентифицировано категорией «социальная ностальгия». Опираясь на исторический опыт уходящих поколений, наши современники оценивали окружающую их действительность в советских терминах. «Так прошлое стало определять актуальные переживания в настоящем»³⁷.

Другую сторону процесса освоения новой реальности представил Леонид Ионин. Он указывал на то, что для людей советской культуры новые, вынужденные практики оборачиваются инсценировкой, то есть игровым подражанием чуждым культурным формам, без достаточного осмысления того что и зачем они делают³⁸.

К концу первого постсоветского десятилетия, эмпирические данные позволяли говорить о сильной атомизации городских сообществ, превратившей прежние анклавы индустриализма в территориальные агломерации, в которых экономизм выполнял роль ситуационного ориентира, позволяя принимать локальные решения, но не создавал ощущения политической и социальной общности, ни в пределах региона, ни в рамках государства.

В этой ситуации, автор, с коллегами по кафедре культурологии Пермского политехнического университета получил возможность более детально изучить феномен социального воображения социологическими методами³⁹. Следует отметить, что дополнительным факто-

³⁶ Левада Ю. «Человек советский»: проблема реконструкции исходных форм // Мониторинг общественного мнения. 2001. № 2(52). С. 7–15.

³⁷ Зборовский Г. Широкова Е. Социальная ностальгия: к исследованию феномена // Социологические исследования. 2001. № 8. С. 21.

³⁸ См.: Ионин Л. Социология культуры. М., 1998.

³⁹ Социологический опрос «Национальные отношения в Пермской области», июнь 2000 г. Выборка квотная в соответствии с этнической, возрастной и гендерной структурой населения Перми. Всего было опрошено 946 человек. Метод стан-

ром влиявших на респондентов в ходе исследования 2000 года был экономический дефолт 1998 года, который заново актуализировал социальные переживания катастрофического, кризисного характера. Шок, который горожане переживали на фоне экономического кризиса, ослабил нормативные ограничения, сформированные культурой и позволил опрашиваемым более свободно рассуждать об этничности и ее месте в системе социальных идентификаций. Сразу отметим, что в этих нарративах проявились довольно архаичные по своим социальным признакам культурные архетипы⁴⁰.

Полученный в ходе упомянутого исследования эмпирический материал продемонстрировал, что горожане склонны в городской общности различать «своих» и «чужих» на основе этностереотипов. Источником стереотипов выступали как открытые медийные ресурсы – газеты, телевидение, т.е. общедоступные средства массовой информации, так и приватные социальные сети, функционирующие по законам устной коммуникации. Слухи, анекдоты, рассказы родственников, воспоминания также обладали заметным влиянием на формирование интенции распознавания этнического образа «чужих/далеких» и «близких/своих» этнических групп.

В инструментарии исследования, проводимом среди населения г. Перми, использовался перечень этнических групп, проживающих на территории Пермского края (тогда – Пермской области), а также регулярно приезжающих туда работать; и две «контрольные группы» – «европейцы», представленные англичанами и немцами и «далекие россияне» – дагестанцы и чеченцы; – всего 20. Предложенные в анкете координаты «близости – чуждости» оказались релевантны представлениям горожан о языке, годном для обсуждения национальностей: лишь 15% опрошенных ответили, что все национальности близки и 35% отказались назвать «чуждые» национальности.

дартизированного индивидуального интервью. Научн. рук. Лейбович О.Л. по результатам исследования были опубликованы статьи в центральных журнале «Мир России»: Кабацкова. ЛейбовичО. СтегнийВ. ШушковаН. Образ «другого» в социальном сознании горожан // Мир России. 2004. Т.12. С.43 – 65; Кабацков А. ЛейбовичО. ШушковаН. Большой город в постсоветском пространстве // Мир России. 2004. Т.13. С.191 – 205.

⁴⁰См.: Кабацков А. Лейбович О. Социокультурный архетип: к определению термина // Фундаментальные проблемы культурологии: в 4-х тт. Том 3: Теория культуры. СПб.: Алетейя, 2008 С. 247 – 258.

Для тех горожан, кто определил свою этничность как русские, среди близких ожидаемо оказались представители славянских народов: украинцы (41% от числа опрошенных русских) и белорусы (38%); но, кроме того: татары (26%), евреи (7%), удмурты (6,6%), коми-пермяки (6%) и башкиры (6%). Ответы горожан иных этнических групп были объединены для анализа (в выборке они составили 14,4%, пропорционально представленности в генеральной совокупности). По их «общему» мнению, близкими являлись русские (54%), татары (20%), белорусы (17%), украинцы (14%), евреи (5%) и башкиры (5%). Оценивание этнической группы как «близкой» не обязательно воплощалось в реальной практике дружбы; так, русские считали близкими, но мало дружили с белорусами (всего 3% назвали среди своих друзей представителей этой национальности), и не имели друзей украинцев. Напротив, слабая распространенность мнения о «близости» евреев не препятствовало заявлениям о дружбе с ними: 18% опрошенных русских имели среди друзей представителя еврейской культуры.

Верхние позиции в перечне «чуждых» этнических сообществ заняли чеченцы (так их охарактеризовали 64% опрошенных среди русских и 57% – среди представителей других этнических групп), – так проявилась реакция общественного мнения на военные действия в республике. Следующую позицию занимали грузины (37 и 39% оценили их таким образом). Единодушие наблюдалось и в дистанцированной оценке цыган (по 10%). Примечательное отличие состоит в том, что 16% русских респондентов отнесли к чужим татар, а 18% респондентов других этнических сообществ увидели чужаков в евреях. Русских среди чуждых этнических сообществ названо не было.

Обобщим: в координаты «близкого – чуждого» горожане помещали и реальных партнеров по коммуникации (к их числу относятся русские, татары, евреи, грузины, коми-пермяки, цыгане...), и потенциальных, обращавших на себя внимание по некоторым причинам (чеченцы, украинцы, белорусы). «Коренные» жители края в целом располагались на «близкой» оси координат, однако занимали на ней не только высокие позиции. Некоторые этнические сообщества имели полярные оценки. У русских горожан это евреи (7% оценивали их как близких, и 7% как чуждых) и немцы (3,6 и 4% соответственно), татары (26 и 16,5%). У представителей других групп наблюдались схожие мнения о татарах (как близких их оценивали 20%, как чуждых – 11%), и перевернутые – о евреях (5% и 18% соответственно).

Этностереотипы можно отнести к мыслительному компоненту социальных практик, который отвечает за восприятие и описание объектов и среды определенным образом, в соответствии с некоторым уровнем и содержанием эмоциональности.

Другим источником информации о мыслительной реконструкции социальной общности в которой реализуются повседневные жизненные практики горожан стали ответы на открытый вопрос об отличительных качествах людей разных этнических сообществ. Данные высказывания рассматривались с точки зрения их содержания (интенциональности, эмоциональности, латентно присутствующего знания), а не распространенности. Считалось, что участники исследования вербализировали фрагмент коллективного воображения, знания, которое ими считалось адекватным для большинства агентов типичной коммуникации.

Ответы были придуманы самими респондентами и записаны интервьюерами так, как они были произнесены. Было решено не сводить названные качества к синонимам. Для анализа будут использованы качества 13-ти сообществ (русские, татары, башкиры, грузины, евреи удмурты, коми-пермяки, немцы, цыгане, украинцы, узбеки, чеченцы, дагестанцы). Всего для них было названо 204 уникальных качества, из них 87 присутствовали в ответах по одному разу (т.е. только для какой-то одного этнического сообщества). Общее число качеств у разных групп отличалось. Больше всего их – 61 уникальный ответ – было названо в отношении татар. По 57 качеств получили чеченцы и украинцы. Для характеристики русских и евреев были использованы по 51 уникальной черте. Остальные этнические группы набрали по 38-40 черт, за исключением удмуртов: чтобы их описать, нашим собеседникам хватило 31 черты.

Получившиеся образы, коллективно нарисованные горожанами, внутренне противоречивы. В них может говориться о хитрости и открытости, уме и простоте, дружелюбии и клановости, трудолюбии и лени, звучать упреки в злости, и одновременно – спокойствии и желании помогать. Ни одна из этических групп не обладает только позитивными, или только негативными чертами. Более того, мы решили отказаться от типологии названных черт на «положительные» и «негативные» исходя из их словарных коннотаций. Для того, чтобы понять, что на самом деле значит быть «простым», «хозяйственным» или «гордым» в случае, если человек характеризует этнос, мы сконструи-

ровали релятивистскую шкалу оценок. Исходным пунктом для нее стали черты, приписываемые русским. Результаты исследования позволяют заключить, что основной осознаваемой и воспроизводящей этнической границей в городе является та, что пролегает между русскими и представителями других этнических сообществ.

Согласно исследованиям этнопсихологов, автостереотипы разных этнических групп схожи, но если говорить о русских, то можно обнаружить некоторые отличия. Прочитируем выводы исследования Ю. Аллика и др.:

«По сравнению с усредненными стереотипами для 49 других стран, он или она воспринимаются доминирующими, волевыми, поспешными в речи и принятии решений. Всё же самая выпуклая характеристика, которая отличает типичного русского от других наций – открытость. Типичный русский представляется как человек, который имеет живое воображение и богатую фантазию; интеллектуальное любопытство и способность вновь пересматривать социальные и политические ценности»⁴¹ (С. 14). В нашем исследовании автообраз русского преимущественно был составлен из таких черт, как «доброта» (44,6%), «отзывчивость» (15%), «открытость» (11 %), «лень» (9%), «простота» (7 %), «трудолюбие» (6 %).

Если за отправную точку взять качества, которыми наделяют русских, то среди совокупности ответов выделить несколько групп:

- (1) - черты, присутствующие у русских, и распространенные у других 12-ти групп;
- (2) - черты, отсутствующие у русских, и распространенные у других 12-ти групп;
- (3) - черты, характерные для русских, и некоторого числа (1-4) других 12-ти групп;
- (4) - черты, присущие исключительно русским;
- (5) – черты, присущие исключительно какой-то из других 12-ти групп.

Первую группу качеств – если принимать во внимание, что большинство ответов было дано именно русскими респондентами, - следует интерпретировать как общие черты горожанина, т.е. те характери-

⁴¹АлликЮ. и др. Конструирование национального характера: свойства личности, приписываемые типичному русскому // Культурно-историческая психология. 2009. № 1. С. 14.

стики, которые не имеют этнического компонента, хотя и были названы как этнические.

Во вторую группу, соответственно, попадают черты, этнически окрашенные в том смысле, что они отличают большинство этнических групп от русских, создают демаркационную линию. Эти качества, вне зависимости от их положительной или отрицательной коннотации, обозначают границу близкого и чуждого.

Третья группа позволяет выделить те качества, присутствие которых у иных этнических групп, создает общие поля понимания, и, значит, бесконфликтной коммуникации.

Четвертая и пятая группы состоят из тех отличий, иногда почти отнюдь, которые отвечают за интенциональность этнических практик.

Итак, постсоветский горожанин в начале XXI века наделял жителей городской территориальной агломерации следующими чертами: гордостью, справедливостью, порядочностью, честностью, открытостью, отзывчивостью, гостеприимством, щедростью, дружелюбием, добротой, трудолюбием, умом, упрямством; и, вместе с тем: глупостью, жадностью, жестокостью, ленью, наглостью, самолюбием и простотой. Этот набор качеств позволял и ему, и другим, воплощать в поведении востребованную рациональность: ставить достигаемые, чаще – индивидуальные, цели, подбирать средства, заводить партнеров, изменять условия договоренностей в свою пользу, добиваться результата, находить в этом повод для гордости.

Обратной стороной ситуации, осознаваемой как этнически неоднородная, было ожидание такой активности других агентов как: высокомерие, грубость, вредность, вспыльчивость, зависть, злость, национализм, эгоизм, тупость, и одновременно, хитрость. Названные черты, безусловно, должны вызывать к жизни коммуникацию с большой долей в них осторожности и отстраненности, или, в другом варианте – напряженности.

Исследование также позволяло выявить перечень качеств, которые оказались несвойственными русским, но позитивно коннотируемые: деловитость, общительность, ответственность, практичность, хозяйственность, целеустремленность, экономность, достоинство. Этот набор характеристик, будучи собранным вместе, обладает сходством с идеальным типом веберовского предпринимателя. Зададимся вопросом: почему эти положительные свойства не были ни разу названы для описания русских? Вероятно, речь идет о сравнительно более медлен-

ном освоении русскими новых экономических практик, стремлении оценивать поступки других в прежней – советской системе координат.

Исследование продемонстрировало, что этническое сообщество, составлявшее большинство среди горожан, ревниво следило за экономическими успехами небольшой группы людей. Компенсаторные механизмы подсказало решение: вывести тех, кто лучше достигает материальных целей, за пределы «своего» мира. «Новые русские», категория, активно использовавшаяся в 1990-х годах для идентификации статуса успешного предпринимателя, может считаться стихийным символом чуждости внутри одного этнического сообщества. По отношению к другим этносам название изобретать не пришлось. Такая логика восприятия реальности и привела к тому, чтобы поставить грузин, преуспевающих в уличной торговле сезонными овощами и фруктами, на второе место среди чуждых групп. Хозяйственность и практичность – в этих особых координатах – не положительные, а отрицательные черты.

Упомянутые напряженности в типологии Льюиса Козера предстают как нереалистические конфликты, которые «... порождены не антагонизмом целей участников, а необходимостью разрядки по крайней мере у одного из них. В этом случае выбор соперника не связан напрямую ни с проблемой, по которой идет спор, ни с необходимостью достижения определенного результата»⁴². Вряд ли респонденты, использующие описанную модель категоризации, находились в ситуации реальной конкуренции с иными этническими группами. Сделанный выбор заслуживает особого внимания, так как порожден культурными факторами и тесно связан с моделями и алгоритмами социального воображения.

Перечень черт, схожих у русских с небольшим числом других групп, также включал в себя разные по направленности суждения. Упоминание о «пассивности» среди схожих с русскими качеств было наиболее распространено, и встречалось также у татар, башкир, украинцев и дагестанцев. Кроме пассивности, остальные качества русских с татарами объединяла терпеливость, широкая душа, доверчивость и непредсказуемость. У русских и украинцев необычных объединяющих было указано качеств немного: несобранность и карьеризм. Талантливость и карьеризм также объединили русских с евреями, как и несо-

⁴²КозерЛ. Функции социального конфликта. М., 2000. С. 71.

бранность. В целом, во взаимодействии с другими национальными группами, русские обнаруживают в них схожие как привлекательные, так и отрицательные черты. Однако, тот факт, что эти черты – общие, создает привычные координаты для направленной активности⁴³.

Если из общего перечня выбрать черты, присущие исключительно русским, и никому больше из остальных 12 групп, то их останется немного, - это: фатализм, храбрость, бесшабашность, бескорыстие, вера, самопожертвование, чувство долга, старательность, заносчивость, пьянство, разобщенность. В получившемся образе хорошего, смелого, но не знающего, куда направить свою активность человека, снова слабо представлены экономические черты. В уникальных чертах других этнических групп экономическая тема слабо, но присутствовала. Названные ранее как наиболее близкие украинцы обладали, в отличие от всех остальных, следующим чертами: гибкость, громогласность, словоохотливые, хвастливость, нечуткие, добросовестность, обстоятельность, зазнайство, недружелюбие, самостоятельность, западничество, предатели, хорошие кулинары, любят выпивать, любят есть, нельзя давать власть, ограниченность. Среди качеств, присущих исключительно татарам – тоже воспринимавшихся как близкие, можно было увидеть: выносливость, трезвенники, эмоциональность, ревнивые, склонность, корысть, скряги, чужие. Грузинские черты, на взгляд постороннего наблюдателя, не делали их чуждыми: благородство, уважение к старшим, темперамент, демократичность, ущемленность; в отличие от чеченцев. Последние, если из их описания изъять сходные с другими этносами черты, становились квинтэссенцией врага. Бандиты, захватчики, кровожадность, бездушные, бессердечие, враждебные, злопамятные, звери, коварные, лицемерные, необразованность, одер-

⁴³Полный перечень общих качеств и русских и небольшого числа других, перечисленных респондентами в ходе опроса: бережливость (удмурты, коми-пермяки), терпеливость (татары, дагестанцы), широкая душа (татары), патриотизм (немцы, чеченцы, дагестанцы), скромность (коми-пермяки), талантливость (евреи), оптимизм (немцы, цыгане), доверчивость (татары), непредсказуемость (татары, чеченцы, дагестанцы), необязательность (грузины, евреи), несобранность (коми-пермяки, украинцы), вороватость (цыгане, чеченцы), пассивность (татары, башкиры, украинцы, дагестанцы), карьеристы (евреи, украинцы).

жимость, ехидство, приспособляемость, резкие, сволочи, террористы, - такими в советских фильмах изображали фашистов⁴⁴.

Анализ высказываний участников исследования о качествах, присутствующих разным этническим группам показал, что слова и выражения, использованные для описания потенциальных партнеров по взаимодействию, обладали контекстными коннотациями. Для того чтобы верно определить воздействие того или иного качества на практику агента (в том числе и в ситуации определяемой как этническая), исследователю необходимо быть осведомленным о модальных характеристиках партнеров по коммуникации. Отклонение от модальности, неважно в положительную, или отрицательную сторону, приводило к практической напряженности. Потенциальная конфликтность тем сильнее, чем больше модуль этого отклонения. Для национальных взаимодействий горожан рубежа веков такой модой служили качества, приписываемые русским. Применение описанного принципа позволяло оценить черты «деловитость», «целеустремленность», «экономность», «практичность» как создающие барьеры в этнических практиках.

В то время, когда проводилось исследование, городской житель ощущал кризис через ограничение своих потребительских возможностей и рост ценности денег. Вместе с ценностью денег, возросла ценность работы. Кризис поставил под сомнение трудовую парадигму 1990-х годов. В первые годы интенсификации рыночных отношений, из-за закрытия промышленных производств, научно-исследовательских институтов и массовых сокращений рабочих мест на бывших советских предприятиях на большое количество людей было вынуждено искать работу на рынке труда. Новые рабочие места создавались вне промышленного производства, по преимуществу в сфере торговли и развития городских услуг. Отсев «профпригодности» проходил преимущественно по возрастным (поколенческим) параметрам. Наибольшие шансы на трудоустройство в сфере услуг по-

⁴⁴Справочно: исключительные черты других, перечисленные респондентами. Евреи (богатство, умение жить, изворотливость, проныры, упорство, интеллигентность, неуважение к другим); удмурты (дипломатичность, смиренность); немцы (воспитанность, дисциплина, педантичность, строгость, терпимость, брезгливость, чванливость, бездушные, трусливость); цыгане (предприимчивые, коллективизм, кочевники, лоботрясы, мародеры, рвачи, мошенники, непостоянство, навязчивость, хорошие психологи, несерьезные, пустые люди, развратность, хамы).

лучали выпускники вузов без опыта практической работы на предприятиях. Именно тогда в городской среде начал формироваться новый слой офисных работников и служащих – своеобразный класс «рабочих без определенной квалификации» из сферы услуг.

Реалистичность «безработицы» для горожан может считаться одним из ключевых факторов, определяющим поведение человека в рабочем коллективе. Экономическая ситуация в начале XXI века была такова, что «безработица» воспринималась вполне реалистичной ситуацией для трех четвертей наших респондентов.

Исследование выявило, что устойчивые компоненты этнической социализации могли затруднять трудовую мобильность не русских этнических групп. Мы выделили группу респондентов, прошедших через этнически ориентированные модели социализации и стремящихся воспроизводить их в общественной жизни. Их дети обучались родному языку и традициям национальной культуры, они стремились потреблять в СМИ этническую информацию, ориентировались на символы национального характера в области искусства. В целом, их модель культурного воспроизводства практик этничности, можно обозначить как релятивистскую. Этот этнический релятивизм оказывал влияние на трудовую жизнь, оборачиваясь затруднениями при устройстве на работу, проблемами в поиске нового места трудоустройства. Этнические препятствия ими воспринимались в качестве социального факта ситуации жизни в большой полиэтнической общности, отражаясь даже в заниженных самооценках успешности трудовых достижений.

Вместе с тем, следует отметить, что этнический компонент социализации перестает восприниматься в качестве социальных границ, когда практики его актуализации менее реалистичны. Сам факт этнокультурной социализации не становится основанием для занижения самооценки трудовой успешности. В городском сообществе оценку релятивизма этнических практик производят социальные слои горожан занимающие престижные и статусные позиции. Как правило, они готовы принимать презентации с элементами этничности, когда этничность предьявляется в качестве стиля национальной моды, в качестве символической традиции, не выходящей за пределы практик игрового стиля.

Таким образом, можно говорить о том, что на рубеже веков, в трудовой культуре горожан пустили ростки этнические модели соци-

альной идентификации (дифференциации). В условиях социальной нестабильности и разрушения институционального порядка этнический фактор стал проявлять себя более интенсивно, точнее – его стали чаще замечать участники социальных взаимодействий, так как рутинизация отношений на производстве и в коллективе была нарушена вторжением рыночной, конкурентной экономической культуры.

Ф. Барт замечал, что «этнические границы канализируют социальную жизнь: ей соответствует подчас довольно сложная организация поведения и социальных отношений»⁴⁵. В отличие от этнически организованных комплексов, которые изучали этнографы и антропологи, этнические границы в городском сообществе представляют собой один из множества факторов, структурирующих отношения и практики людей. В нашем случае, культурное содержание этничности было задано советской эпохой, по-своему противоречивым и неоднородным историческим временем. Это означает, что этнические границы препятствовали рационализации современного мира, вступая в незримый конфликт с его главными символами и ценностями, представленными экономической рациональностью.

Для государственной политики этнические национализмы вредны также как региональные сепаратизмы. К концу первого десятилетия XXI века, в Российской Федерации формируется властная символическая политика, нацеленная на конструирование новой национальной идентичности, государственной по своему содержанию. Она предполагает разграничение культур: российской с одной стороны, «западной» с другой и, отчасти «восточной». Этнические национализмы отесняются этой государственной политикой на периферию социального воображения. Парадокс в том, что такая победа над локальными этнонационализмами достигается за счет повышенной напряженности на внешних культурных границах.

Таким образом, мы видим два процесса разнонаправленных в своих ориентирах. Первый процесс, это конструирование этнических вообразяемых сообществ: татар, башкир и др. В этом процессе ведущую роль играла национальная интеллигенция, творившая национальные мифы о великом историческом прошлом, особом виде национального достоинства. Этот процесс нельзя считать завершенным или преодо-

⁴⁵БартФ. Введение // Этнические группы и социальные границы. Социальная организация культурных различий. М., 2006. С.17.

ленным. Тем не менее, определяющую роль в текущей политической жизни играет иной тип процесса формирования национального воображаемого в границах Российской Федерации. Речь идет о создании национального воображения, которое условно можно назвать «мы – русские». Причем русскими мы являемся по праву рождения, по общей истории, единому языку и историческим преданиям. Иначе говоря «мы русские» независимо от этнической принадлежности, но в силу того что мы на протяжении веков противостояли враждебному «Западу» и отчасти «Востоку». Такое формирование государственной национальной общности является результатом властной символической политики последних двух десятилетий.

Инициаторами и реализаторами этой политики выступают люди государственного аппарата, «сословие государственных служащих» (С. Кордонский), а социальной опорой – люди третьего поколения; жители малых городов и деревень и большие группы молодежи. В этом национальном воображаемом, на символическом уровне происходит элиминация этнических различий и переплавка соответствующих этнических стереотипов в пользу стереотипов государственных. Идеологическим оформлением этого процесса служит концепция единения российского общества.

М.М. Чудинова

О НОВОГОДНИХ ФОНОВЫХ ПРАКТИКАХ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЯН (ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

Написанию этой статьи предшествовал длительный процесс (2012-2016) собирания биографических и фокусированных интервью с горожанами советского и постсоветского поколений. Большинство информантов – женщины с высшим образованием, занимающиеся умственным трудом (врачи, психологи, филологи, экономисты и т.д.). Условно такую социальную группу можно обозначить городской интеллигенцией. Меня интересовало смысловое наполнение жизненного мира этих людей, их повседневные ритуализированные практики и культурный контекст, который скрывается за подобными действиями.

Эта статья основана на фрагментах интервью, связанных с празднованием Нового года. Данная тема – одна из любимых и обширных в нарративе моих информантов. Можно сказать, что Новый год – наиболее беспроблемный аспект их жизненного мира, наполненный радостными смыслами и практиками. О подобной ситуации пишут многие исследователи советской и постсоветской культуры, отмечая особый статус Нового года. По крайней мере, это единственный государственный праздник, к которому подавляющее большинство населения относится не просто хорошо, а с пиететом и трепетом. Более того, Новый год – глубоко одомашненный праздник, носящий личностный смысл для граждан России⁴⁶.

В нашей статье праздник понимается как часть повседневности, «вывернутая наизнанку». В любой культуре в праздничный период разрешается определенный отход от привычных повседневных норм, практик, образующих социальный порядок. По мнению ряда исследователей, «именно эта временность отмены повседневного распорядка и делает праздник интегрированной и интегрируемой частью

⁴⁶Николаев О. Новый год: праздник или ожидание праздника? // Отечественные записки. 2003. № 1. Электронный ресурс: http://magazines.russ.ru/oz/2003/1/2003_01_20.html. (дата обращения 17 08 2016)

общественной структуры»⁴⁷. Праздник Нового года – один из наиболее ярких примеров «разорванной повседневности», что наиболее ярко проявляется в приготовлении и потреблении праздничной еды: «праздничный стол находится на вершине пирамиды способов и ритуалов утоления голода, жажды. Он метафизичен как по отношению к Празднику, так и к процессу еды не только в ее узком смысле, но и к застолью как социализированному способу насыщения желудка»⁴⁸.

Большое внимание информанты уделяли гастрономической стороне празднования Нового года. Об этом «вкусном» аспекте праздника и пойдет речь в статье. Конечно, я не буду первооткрывателем в том утверждении, что вокруг празднования Нового года в российской культуре сложился целый пласт ритуализированных практик приготовления и потребления продуктов и блюд. Но в данной статье я попробую рассмотреть подобные ритуализированные праздничные действия современных россиян с точки зрения концепта фоновых практик.

С точки зрения американского антрополога Шерри Ортнер, начиная с 1980-х годов понятие «практика» стало центральным ориентиром антропологических исследований⁴⁹. Обычно под «практикой» или «практиками» исследователи понимают широкий спектр разнообразных человеческих действий, зависящих от содержания конкретной культурной среды.

В литературе выделяется понятие «фоновых практик», представленных в трудах Н. Элиаса, Г. Гарфинкеля, И. Гофмана, О.Л. Лейбовича, А.Н. Кабацкова, Н.В. Шушковой, В.В. Волкова, О. В. Хархордина⁵⁰. «Фон» в пространстве этих исследований

⁴⁷ Цит. по: Рольф М. Советские массовые праздники / М. Рольф; [пер. с нем. В. Т. Алтухова]. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН): Фонд Первого Президента России Б.Н. Ельцина, 2009. С.13-14.

⁴⁸ Национальная идея сквозь призму праздничного стола // Отечественные записки. 2003. № 1. Электронный ресурс: http://magazines.russ.ru/oz/2003/1/2003_01_23.html. (дата обращения 14 09 2016)

⁴⁹ Ortner Sh. Theory in Anthropology since the Sixties / Comparative Studies in Society and History, 26:1, 1984. P.126-166.

⁵⁰ Гарфинкель Г. Исследования по этнометодологии / Санкт-Петербург: Питер, 2007; Элиас, Н. О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенетические исследования. В 2-х т. М.: университетская книга, 2001; Волков В. В., Хархордин О. В. Теория практик / Санкт-Петербург: Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге, 2008.

понимается как культурный контекст, в рамках которого действует индивид. Г. Гарфинкель пишет о «практических-действиях-в-контексте», имея в виду практики, обусловленные другими практиками, например, практиками интерпретации и оценивания⁵¹.

Фоновые практики современных россиян на сегодняшний день представляют малоисследованный массив, который необходимо аналитически расчленить, выделив значимые аспекты этих практик.

Определяя ту или иную практику как «фоновую», я указываю на наличие в ней непроясненных ценностных оснований, выявление и развертывание которых представляет собой актуальную исследовательскую задачу. В терминологии М. Вебера фоновые практики можно назвать ценностно-рациональными. В контексте моего исследования фоновые практики современных россиян детерминированы идеализированным образом советской эпохи, поскольку «homo soveticus» только хронологически ушел в прошлое. Меня интересует еда как культурная практика, наполненная символическими, ценностными смыслами, обращенными к советскому прошлому.

Чтобы понять ценностно-рациональное содержание современных «новогодних» практик, необходимо отследить советское праздничное «наследие» в постсоветской культуре. Обычно советские праздники рассматриваются авторами как особые инструменты управления тоталитарным обществом. Новый год не исключение. Принято считать, что праздник выполняет функции строительства сообщества и идентификации с ним. Кроме того, М. Рольф полагал, что «советская праздничная культура как часть культурной жизни страны становилась фактором массовой коммуникации людей»⁵². Советский Новый год, с его яркой эмоциональной личностно-семейной окрашенностью, как нельзя лучше выполнял данные задачи. В наше время массовой ностальгии россиян по «светлому» советскому прошлому постсоветский Новый год превратился в один из мощных механизмов культурной памяти. Рассмотрим данное утверждение на материале моих информантов, что важно, советского и постсоветского

⁵¹ Гарфинкель, Г. Исследования по этнометодологии / Санкт-Петербург: Питер, 2007. – С.43.

⁵² Рольф М. Советские массовые праздники / М. Рольф; [пер. с нем. В. Т. Алтухова]. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН): Фонд Первого Президента России Б.Н. 2009. С.10.

поколений.

Для начала посмотрим, из чего, по версии сайта газеты «Комсомольская правда», состояло стандартное новогоднее меню советской семьи⁵³:

ЕДА

Оливье (1)

Сервелат финский, буженина (2)

Холодец

Рыба заливная

Рыба красная

Картошка с тушенкой

Шпроты (3)

Икра из спецпайка (4)

Маринованные и соленые огурцы и помидоры из домашних заготовок (5)

Курица (утка у продвинутых гурманов) (6)

НАПИТКИ

Шампанское «Советское» (7)

Водка «Столичная»

Вино полусладкое

Газировка «Буратино»

ФРУКТЫ

Мандарины

Яблоки

СЛАДОСТИ

Торт покупной или «Наполеон» собственного изготовления

Конфеты «Мишка на Севере»

Наконец, обратимся к нарративу моих информантов. Обозначим главные блюда и сопровождающие их практики новогоднего застолья. По словам опрошенных мной женщин, одни из важнейших составляющих их новогоднего стола – это салат «Оливье», курица, пельмени, бутерброды с икрой, мандарины, шампанское... В содержании этих гастрономических практик представляется возможным уловить ценностные смыслы, которые так дороги нашим информантам. Иначе говоря, тот самый культурный фон, который

⁵³ Новый год по-советски и по-русски. Электронный ресурс: <http://www.perm.kp.ru/daily/24022.3/89821/>. (Дата обращения 19.07.2016).

стоит за этими приятными хлопотами современных россиян.

Во-первых, бросается в глаза **коллективность приготовления праздничного стола**: *«в приготовлении блюд участвуют все члены семьи, особенно женского полу»* (Галя, студентка, 19 лет).

Здесь следует сказать пару слов о традиционном распределении гендерных ролей в современной российской культуре. Большинство российских женщин в большей степени включены в практики домашнего хозяйства, чем мужчины. Повседневное приготовление пищи остается преимущественно «женской» обязанностью. Но в нарративе информантов обнаружилась интересная закономерность: со слов большинства женщин, мужчины в их семьях тоже участвуют в приготовлении праздничного стола, и это больше выглядит исключением, чем правилом. *«Каждый год у нас так: салатами я занимаюсь, а Миша (муж) бутербродами и курицей... А вообще готовит он редко, только когда приспичит, и особо об этом не заботится»* (Дарья, врач, 29 лет).

В семьях некоторых информантов накануне или незадолго до Нового года до сих пор коллективно лепят пельмени. Валентина (филолог, 57 лет) вспоминала, что в её детстве *«пельмени делались всей семьёй, много, задолго до собственно праздника, выставлялись на мороз»*. По её словам, пельмени лепили всей семьёй, потому что это *«быстро, удобно, как по конвейеру... Тогда пельмени не продавались в магазине, хозяйство было свое, вот и делали...»*. Эту практику Валентина и некоторые информанты стараются поддерживать и сегодня. Возникает рациональный вопрос, зачем лепить пельмени, если сейчас в магазине они продаются на любой вкус и ценовую категорию? Традиционно лепка пельменей – утилитарная, целерациональная практика. Нов лепке пельменей в условиях современной городской культуры прослеживается ценностный смысл, где ценностью выступает память о прошлом, память о семье и ценность семьи как таковой.

Во-вторых, интересный ритуал также встречается у части информантов: **тщательное обсуждение меню новогоднего стола примерно за месяц до Нового года**. *«Мама спрашивает каждого, кто бы что хотел интересного поесть на Новый год, мы с братом отмахиваемся и говорим "еще декабрь". Но постепенно вытягиваемся, когда она перечисляет "на этот салат надо орехи, грибы, сыр, морковь" - вкусно звучит. У мамы готово меню за неделю точно»*.

(Гая, студентка, 19 лет). Возможно, в таком коллективном предвкушении «особенного» праздника опять же подчеркивается ценность семьи, внимание к потребностям её членов.

В-третьих, король новогоднего стола – салат «Оливье».

По словам всех женщин, на новогоднем столе обязательно присутствует салат «Оливье» (или «Зимний»). Интересны комментарии информантов о причинах присутствия этого блюда. По словам Дарьи (29 лет, врач), *«потому что это единственный салат, который признает Миша. Остальные он не ест. Он очень консервативный в этом плане. Пробовать даже не хочет»*. На вопрос о причине такого пристрастия сам муж информантки ответил, что *«этот салат с детства на столе в Новый год»* и *«вообще, идите в баню со своими дурацкими вопросами»*. Подобный ответ может говорить о замешательстве человека, который никогда не задумывался о причинах подобных практик в своей повседневной жизни. Более того, праздничные практики настолько опривычены, что выглядят как нечто непреложное и само собой разумеющееся: *«Все и всегда делают на Новый год «Оливье», это некая традиция, символ»* (Дарья, 22 года, студентка).

Все информанты описали стандартный рецепт салата «Оливье», по которому обычно его готовят в их семьях: *«колбаса, яйца, картофель, соленый огурец, горошек, майонез»*. Известно, что изначальный, дореволюционный, состав салата «Оливье» был шикарным и доступным только богатым слоям населения. В его рецепте упоминались рябчики, куропатки, раковые шейки... Привычный российскому гражданину рецепт салата сформировался в советскую эпоху, в результате скромных потребительских возможностей советских граждан и желания приобщиться к буржуазному слову «Оливье».

Об истории и модификациях салата Оливье подробно и красочно писала Анна Кушкова в статье «В центре стола: зенит и закат салата "Оливье"». Автор статьи собирала интервью у очень разнообразной аудитории и пришла к выводу, что *«для большинства информантов салат «Оливье» неизменно оказывался тем «общим местом», которое будило в них воспоминания о многообразном комплексе отношений, складывающихся по поводу его приготовления и поедания, — о*

семейных праздничных обычаях»⁵⁴. То же самое можно сказать и о наших информантах как советского, так и постсоветского поколения: «В Новый год на столе всегда есть «Оливье». Мы называем его "Зимний". Его заказывают мой четырнадцатилетний брат и бабушка, потому что «традиция». (Галя, 19 лет, студентка).

В современном российском обществе ушли в прошлое пустые полки в магазинах, длинные очереди за колбасой в «одни руки», но наши информанты из года в год на новогодний стол готовят «Оливье». В этом контексте любопытным представляется замечание информантки Галины (19 лет): *«Маме «Зимний» салат напоминает о бедности, поэтому просто так поставить на стол "Зимний" все-таки не разрешается, нужно положить его в заварные или песочные тарталетки. А уж таким блюдом и на банкете Уралхима кормят». Интересно, что часто новогодний стол сопровождается изобилием других праздничных блюд, несвойственных советскому периоду: «Еще должен быть какой-нибудь оригинальный салат типа курицы с ананасом, сёмги с гранатом, печени с зеленью и оливками» (Галя, 19 лет). «Кроме «Оливье», делаю еще один-два салата необычных, современных, только муж их не ест» (Дарья, 29 лет, врач). В подобных ситуациях можно уловить соединение ценности памяти о прошлом, хоть и дефицитном, и ценности сегодняшнего дня, с возможностью более «достойной» в плане потребления репрезентации своей семьи.*

Подведем итоги. Современный Новый год в постсоветской культуре выступает как присвоенная традиция, в которой воплощены семейные ценности, прежде всего, гендерные и кулинарные. Их и демонстрируют тем же традиционалистским образом. Последующее исследование поможет нам более глубоко и подробно изучить фоновые гастрономические практики россиян.

⁵⁴ Кушкова А. В центре стола: зенит и закат салата "Оливье" // Новое литературное обозрение. 2005. №76. Электронный ресурс: <http://magazines.russ.ru/nlo/2005/76/ku23.html>. (дата обращения 5 04 2016)

К.Тройчун

«ВСЕ ТАК И БЫЛО»: СОВЕТСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ И КИНО 80-Х ГГ. В ВОСПРИЯТИИ СОВРЕМЕННОКОВ

В данной статье изучается память о пермском быте 80-х годов в восприятии современников. Позднесоветская эпоха является предметом массовой ностальгии и память о ней подвержена активному конструированию, поэтому здесь изучаются особенности конструирования памяти о прошлом на примере одного из компонентов повседневной реальности – бытовом обустройстве жизни одной из социальных групп горожан в Перми 80-х годов.

Источники по истории памяти - данные, полученные методом интервью [Квале, 2003; Журавлев, 1996]. Были проведены 12 интервью по списку открытых вопросов: статус человека в 80-е годы; практики приобретения жилплощади; практики приобретения предметов быта; аналогичные практики в кинематографе; фильмы, отражающие дух эпохи. Первые 3 раздела позволяли респонденту описать бытовую сторону собственного опыта прошлой реальности, а последние 2 - касались кинореальности. Поскольку все интервью принадлежат людям, проживающим в Перми, исследование имеет узкую региональную направленность.

По выбранному региону нет исследований памяти о быте, по этой причине основой работы является общее исследование «Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая политика» Ассман А., а также теории Хальбвакса М. и Ассман Я. [Ассман, 2014; Ассман, 2004; Хальбвакс, 2007]. Поскольку в фокусе исследования лежит память о быте, дополнительно использовались работы Бойм С., Лебина Н., Утехин И., описывающих практики бытования связанные с жильем и предметами интерьера в специфическом позднесоветском дискурсе [Бойм, 2002; Лебина, 2005; Утехин, 2004;].

Для анализа кинореальности были использованы исследования образов в советском искусстве: тема специфической идеологической компоненты поднимается у Добренко Е. – его исследование посвящено 1930-50-м годам, но для данного исследования актуальными являются предложенные автором принципы анализа кинореальности [Добренко, 2007]. Подход Добренко позволяет анализировать распространенное убеждение, что показанное в кино было правдой - «все так и

было» - когда реальность заменяется репрезентациями. В каждом индивидуальном случае наблюдалась практика сведения воедино реальностей: есть историческое прошлое, есть репрезентации этого прошлого в фильмах и есть канон нарратива об историческом прошлом – респондент демонстрировал, как несоответствующие репрезентациям моменты собственного прошлого могут воспроизводиться в нарративах безотносительно сознания говорящего. Добренко видит в кинореальности инструмент настройки оптики – как надо видеть реальность, и в исследовании проверялось влияние фильмов на видение реальности в определенном ключе⁵⁵.

Выборка фильмов обусловлена произведениями кинематографического искусства, которые приводили сами респонденты, вне зависимости от реальной даты экранизации. Только 8 фильмов из 21 сняты в 80-е годы, а некоторые - за 40-20 лет до интересующего нас периода: «Ирония судьбы» (1975), «Служебный роман» (1977), «Вокзал для двоих» (1982), «По семейным обстоятельствам» (1979), «Гараж» (1979), «Родня» (1981), «Маленькая вера» (1988), «Влюблен по собственному желанию» (1983), «Приключения электроника» (1980), «Москва слезам не верит» (1980), «Курьер»(1986), «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), «Рожденная революцией» (1974-1977), «Берегись автомобиля» (1966), «Четыре танкиста и собака» (1966-1970), «17 мгновений весны» (1973), «Интердевочка» (1989), «Комсомольцы-добровольцы» (1958), «Кубанские казаки» (1949), «Свадьба в малиновке» (1967), «Волга-Волга» (1938).

Несмотря на четко оговоренный промежуток времени, в обсуждение картин «о 80-х годах» попали фильмы, которые были созданы за десятилетия до 80-х годов, потому что на взгляд респондентов реальность, показанная в этих фильмах, была релевантной для 80-х годов.

Отправной гипотезой исследования было предположение, что кинореальность детерминировала рамки коллективной памяти, в том смысле как она понимается у А. Ассман⁵⁶.

Проблемой в интервью стало то, что большинство респондентов не могут вспомнить быт в кинореальности, не связанный с действием

⁵⁵ Добренко Е. Политэкономия соцреализма. – М.: Новое литературное обозрение, 2007. С.279.

⁵⁶ Ассман А. Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая политика. Пер. с нем. М.: Новое литературное обозрение, 2014. С.38.

сюжета или манипуляций над предметами. Если кинореальность и влияла на сознание людей, то это влияние не касается мебелировки жилья. Позиция респондентов о повседневных явлениях в кадре отражена цитатами: «Не могу сказать, что в фильмах было все не так. Потому что на это внимание не обращаю. И на быт внимание не обращаю. Мне это не важно!» [Интервью № 12]; «Если бы хоть вспомнить какую-нибудь сцену, где что-то такое показывают». [Интервью № 10]; «Много таких фильмов было. Но я сейчас не могу вспомнить в каких.» [Интервью № 3].

Лейтмотивом нарративов о кинореальности является большая степень безотносительности воспоминаний и собственного опыта, и как следствие – генерализация высказываний.

Во всех интервью воспоминания о кинореальности подвергаются обобщению, часто говорится о достоверности происходящего на экране:

«Мы смотрим, например вот фильмы старые, и видим, например вот стоит стол, вот он у нас такой же был. Был этот стол у всех.» [Интервью № 1]; «(Вопрос респонденту): «По семейным обстоятельствам» фильм (соответствовал реальности)? (Респондент): Вот это все соответствует (реальности).» [Интервью № 2]; «Ну не могу тебе конкретно сказать, но наверно как у всех. Думаю, там не могли сочинить что-либо яркое, более выделяющееся.» [Интервью № 8]; «Жили так. И квартиры были такие.» [Интервью № 12]. «Кто-то в фильме если богатые жили – то они видимо так и вот и жили а кто попроче... принципе, почему то в фильмах все в хороших квартирах жили и мебель вроде как хорошая... показывают которых все-таки как-то имели хорошую зарплату» [Интервью № 10]. «В этих как его, как говорится в фильмах тоже все правда! Так может, так оно, так оно и было» [Интервью № 6].

Четкую границу между фильмами и прошлой реальностью проводит только один человек: «В фильмах всегда показывали гораздо лучше, чем на самом деле – это бросалось в глаза. Фильмы тех годов смотришь – все исключительно в красивых новых квартирах все жили – это сразу замечается. ... Жили хуже, да. Приукрашали действительность в фильмах.» [Интервью № 4]. Двое отмечают, что в фильмах в основном показаны истории про обеспеченные семьи – или хотя бы про «не слишком бедных», т.е. некоторое понимание, что кинореальность отсекала «слишком бедных» присутствует: «В фильмах не самое

худшее всегда показывали...Они как бы реальную жизнь показывали, но не бедную. не самое дно.» [Интервью № 12].

С аналогичным пониманием о «слишком богатых» все сложнее: в воспоминания о богатстве и богатых людях фигурируют не реальные и существовавшие люди, а «гипотетические». В выбранных фильмах нет экстремально богатых людей – квартира Самохвалова в «Служебном романе», обставленная импортными вещами общими усилиями съемочной группы, прямо не предполагает наличие у него домработницы и личного водителя. Усреднение образа богатства и бедности в рамках кинематографа способствовало тому, что нарратив выстраивается по двум тезисам о советском прошлом: «все так и было» - о кинореальности, и «все жили одинаково» - о равенстве быта.

Можно предположить, что советский кинематограф является неотъемлемой частью прошлой реальности, которая реально существовала для большинства респондентов, но не являлась личным опытом. Концепция Е. Добренко о выстраивании «оптики», с помощью которой люди видят свою реальность, помогает объяснить, как происходила перцепция вещей, совершенно не укладывающихся в знания о прошлой пермской реальности респондентов.

Следует отметить специфику Перми как крупного города, который некоторые исследователи называют «закрытым» – когда речь заходит о сравнении кинореальности, в которой действие протекает в основном в крупных городах, в частности в Москве, и пермской прошлой реальности респонденты не видят существенных различий. Предполагается, что «советский человек» - человек из «приличной советской семьи» живет одинаково, после чего те же респонденты общаются в какие города за какими товарами ездили, о крупных спекулянтах и магазинах импортных товаров в столице. Есть собирательный образ «всех», и реальности, - в которой есть города с лучшим снабжением, и люди, имеющие больше доступа к «роскоши». Обобщение помогает как восполнить пробелы личных воспоминаний приведением примеров из фильмов, так и наоборот – достроить обстановку дома в фильме исходя из своих представлений как это должно было быть: «Ну она директор! Так это ж директор такого предприятия огромного. Конечно, это была высшая прослойка и там в квартире было покруче. ... Во-первых, там была достаточно большая площадь квартиры, во-вторых, там была мебель скорее всего не наша. Это было у всех нор-

мальных средней прослойки населения. Все доставали такие стенки, хрустальные люстры. То есть это было» [Интервью № 12].

Как уже было сказано выше, можно выделить стороны прошлой реальности, которые конструировались с помощью образов кинематографа – модные тенденции, модели «советского» поведения, усредненную модель социальной стратификации общества. Бытовая сторона прошлой реальности наоборот конструировалась от реальности – те высказывания, в которых респонденты сообщают, что вряд ли в фильмах могли показать что-то необычное и не типичное:

«А ведь наверно в советское время не показывали то, чего не может быть на самом деле. Вообще, что было неправильно. Они не могли показывать в советских фильмах то, чего на самом деле нет. Если брать реальные такие фильмы – они не могли уйти от реальности далеко. Не могли. Они бы не стали показывать. Это пропаганда была бы. Такое бы просто не допустили.» [Интервью № 12]; «И вот скажу, это в данном случае были более правдивые люди (те, кто снимали фильмы) того периода. Чем сейчас» [Интервью № 8].

Если рассматривать такой взгляд на прошлое именно как продукт специфической оптики, заметно разделение сфер воспоминаний, которые конструируются, основываясь на разных видах этой оптики:

По Добренко Е., исследовавшему «соцреализм» сталинской эпохи, фильмы являются сильным инструментом пропаганды образов «реального социализма», которые были репрезентациями реальности. Кинематограф того времени конструирует специфическую оптику. В позднесоветский период происходит размывание границ понятия «советскости», и это проявляется и в альтернативном видении людьми атрибутики «советского человека».

Тезис об относительном равенстве быта - «все жили одинаково» особенно отчетливо конструируется именно с помощью оптики «советскости», и усредненной социальной стратификации, которую поддерживает кинореальность с ее усредненным типом богатого и бедного человека. В рамках жизненной реальности оба этих архетипа относятся к той же категории «приличных семей» - скажем так, нижний уровень обеспеченности и верхний уровень обеспеченности.

Социальная стратификация в памяти людей – а здесь это группа людей, принадлежащих к относительно обеспеченным «приличным советским семьям» - она демонстрирует некоторые скрытые смыслы высказываний «все жили одинаково». **Люди вспоминают «наличие»**

стратификации в Перми 80-х годов по жилищным условиям и уровню потребления:

«Люди по социальному положению очень делились. Это было кстати всегда. Вот раньше казалось, что не было там социального разделения – богатые и бедные, но это всегда было. Мне никогда не хотелось сходить в гости к человеку в барак, ну нет такого желания у меня. У меня чувство брезгливости видимо очень развито, ну не хотелось идти. Люди которые занимали какие-то высокие посты, директора заводов например, могли бы пригласить меня в гости.» [Интервью № 1].

«(Вопрос респонденту): А еще больше комнат квартиры были? (Респондент): Были наверно. У начальства. Партийные работники. И эти все торгаши и директора. Вот они жили хорошо» [Интервью № 2].

«(Респондент): То есть в чем была разница – раньше люди так вот не выделялись, как сейчас. Даже те, у кого они были не выделялись, старались не выделяться. Все примерно были одинаковыми. (Вопрос респонденту): И расслоения общества не было? (Респондент): Да! Ну, если вот к обеспеченным людям прийти домой – там наверно все сразу бросалось в глаза. Но вот на улице – видимо меньше. И особо никто не распространялся» [Интервью № 4].

«Чтобы получить комнату в коммуналке нужно было много справок, это очень трудно все было. Но была поблажка для тех, кто имел членство в партии. У меня был партийный билет, я стал членом партии. Я стал членом КПСС еще в училище в 86 году» [Интервью № 5].

«Ковер толстый, у нас были югославские. Палас тонкий, финский, шерстяной. Покупали по блату. Из Березовки пылесос еще. Телевизор на ножках. Тогда не все так жили как я, в то время» [Интервью № 2]. «А, у моей старшей сестры была волга! ... Вот у нее был гараж, у нас ничо не было, и нет до сих пор. А у нее то и гараж и яма» [Интервью № 2].

«Были олигархи, скрытые олигархи. Они скрыто жили – почему перестройка нашла – потому что люди уже зажрались и не знали что делать – у них были правительственные дачи, у них было все. Ведомственные дачи. Чтоб машину купить простому грешному даже при зарплате там 400 рублей на семью...» [Интервью № 5].

«Были люди более достаточные – но они старались жить скромно. Не выделяться. потому что если выделиться – КГБ над тобой стоит» [Интервью № 12].

Параллельно в интервью воспроизводится тезис об усредненном советском быте - «все жили одинаково». **Имеются примеры воспоминаний, что стратификации «не было»:**

«Мы все примерно были усредненные, все примерно одинаково зарабатывали» [Интервью № 1].

«А кстати я был государственным служащим, у нас зарплаты были скромные тогда. Очень скромные. (Вопрос респонденту): - то есть у вас быт ни чем не отличался от тех людей, которые допустим работали там где-нибудь... (Респондент): - нет. На государственной службе быт ни чем не отличался. (Вопрос респонденту): - ну, то есть обычный быт был... вы считаете что вы жили средненько так, но не бедно? (Респондент): - да нет, мы конечно в нищете не жили! в достатке всегда, но без роскоши» [Интервью № 8]. «Да, все ровненько жили. почему вдруг этот период нравится – потому что все ровненько, все получали зарплату» [Интервью № 8].

«Было стандарт – ГОСТ! Вот пальто значит, с воротничком таким, ткань такая-то, и все – эту штамповку гнали. То есть не было выбора у населения. ... у всех одно и тоже» [Интервью № 5].

«Одинаково все было. У всех все было одинаково» [Интервью № 12]. «Советские люди, они стандартизировано жили. ...И цели были такие же – квартиру обставить так же» [Интервью № 12].

Можно приводить примеры дальше, но тенденция уже заметна. Те, на кого направлена оптика, и о ком говорят «все жили одинаково» – это сами люди о своем собственном уровне материальной обеспеченности, и даже одном уровне жизни внутри этого слоя. Признается факт существования людей бедных – когда речь шла о бараках или подселении, признается факт существование обеспеченных слоев – уровень богатства варьируется от «более обеспеченных» до «скрытых олигархов», но те же люди уверены что все жили одинаково.

Прослеживается прочная взаимосвязь кинореальности с прошлой реальностью – без кинореальности было бы затруднительно воспроизводить в памяти все ключевые распространенные убеждения о быте в позднесоветскую эпоху в Перми. Без образцов соцреализма у людей не будет возможности настраивать свою оптику видения реальностей так, чтобы каждый отдельно взятый человек не испытывал когнитивный диссонанс при совмещении в памяти травмирующих событий прошлого и своего социального статуса.

Таким образом, были проанализированы особенности памяти о быте 80-х годов группы респондентов, чьи семьи относились к слою среднего достатка и самоидентифицировали себя как люди из «приличных советских семей» — они являются активной прослойкой людей, конструирующих современную память о быте в позднесоветскую эпоху. Также они выступают ретрансляторами нарративов о дефиците, при этом являясь, и часто — до сих пор являясь пользователями и хранителями предметов доступной советскому человеку роскоши. В основе особенностей нарративов о дефиците «по-пермски» лежит специфика крупного города занятого в тяжелой промышленности, с меньшим, по сравнению с ближайшими крупными городами уровнем потребления.

На основе данных интервью выделяются три ключевых обобщения, которые делают респонденты в своих воспоминаниях: «все жили одинаково» - об усредненном быте всех советских граждан, «ничего не было» - о дефиците, «все так и было» - о кинореальности. Условно эти обобщения можно назвать «тезисами» - ими респонденты склонны объяснять парадоксы советского быта. Эти тезисы формируются через особую комбинацию настроек социальной оптики:

Первый тезис связан с дефицитом и воспроизводится как клише «ничего не было». Второй – «все жили одинаково» - результат скрытых травм и влияния оптики, заточенной под воспроизводство соцреализма в СССР. Третий – «все так и было» - позволяющий помнить нестыковки кинореальности и прозаической прошлой реальности безотносительно сознания респондента, не травмируя сознание человека.

Оптика тезиса «ничего не было» другой природы - не из соцреализма. Она сложилась в результате травматических воспоминаний о жизненной реальности, и была артикулирована уже после распада СССР. Возможно, после распада СССР закончилась государственная поддержка ретрансляции соцреализма и у той советской идеологической оптики появилась конкурентная альтернатива: Респондентка отмечает, что до распада СССР у нее не возникало когнитивных диссонансов от несоответствия реальности и соцреализма, а потом под воздействием обстоятельств 90-х годов возникло понимание, что в действительности расслоение было [Интервью № 7]. Никто из респондентов не сомневается в том, что «ничего не было», наоборот – эту точку зрения отстаивают. Крайне низкий уровень обеспечения города не ставится под сомнение, однако прямое значение «ничего не было» -

это голод и минимум личных вещей. Реальная трактовка «ничего не было» - это те колоссальные усилия, которые прилагались для обустройства жизни и добывания предметов личного пользования в условиях позднесоветской эпохи, травмы памяти связанные с дефицитом и искажающей оптикой, через призму которой необходимо было презентовать свою жизнь.

Последнее клише относится к артефактами культурного характера, т. к. фильмы в СССР были одним из источников ретрансляции культуры. Парадокс в том, что к 80-м годам происходят изменения как в ретранслируемых с экранов образцах, так и в отношении к фильмам среди населения, что можно охарактеризовали размыванием понятия «советскости», позволяющего сохранять идентичность с «приличными людьми» в нестандартных ситуациях.

Специфика оптики для памяти человека принадлежащего к «приличным советским семьям» города Перми 80-х годов: если человек жил лучше, чем в среднем по городу, он понижает свой уровень до общественно приемлемого, чтобы оставаться в дискурсе «советского человека» или искренне не видит расслоение, если не совершал действий идущих в разрез с пониманием «советскости» в 80-х годах. А в случае обратном – когда семья человека испытывает трудности с обеспечением – человек предпочитает не видеть расслоение, полагая что большинство живет как он сам, подменяя образы роскошных квартир из кинореальности собственными воспоминаниями о том что такое «нормально» и как должны жить «советские люди». Это позволяло не видеть весьма существенные разрывы между репрезентациями прошлой реальности и самой реальностью прошлого – для Перми это особо актуально, в силу низкого уровня жизни на всех уровнях социальной стратификации в сравнении с другими городами и кинореальностью особенно.

Список источников

1. Интервью № 1. Ж. // Личный архив К. А. Тройчун; зап. 28.02.2016, г. Пермь.
2. Интервью № 2. Ж. // Личный архив К. А. Тройчун; зап. 01.03.2016, г. Пермь.
3. Интервью № 3. Ж. // Личный архив К. А. Тройчун; зап. 01.03.2016, г. Пермь.
4. Интервью № 4. М. // Личный архив К. А. Тройчун; зап. 04.03.2016, г. Пермь.

5. Интервью № 5. М. // Личный архив К. А. Тройчун; зап. 13.03.2016, г. Пермь.
6. Интервью № 6. Ж. // Личный архив К. А. Тройчун; зап. 04.03.2016, г. Пермь.
7. Интервью № 7. Ж. // Личный архив К. А. Тройчун; зап. 03.04.2016, г. Пермь.
8. Интервью № 8. М. // Личный архив К. А. Тройчун; зап. 16.04.2016, г. Пермь.
9. Интервью № 9. Ж. // Личный архив К. А. Тройчун; зап. 13.03.2016, г. Пермь.
10. Интервью № 10. Ж. // Личный архив К. А. Тройчун; зап. 02.04.2016, г. Пермь.
11. Интервью № 11. Ж. // Личный архив К. А. Тройчун; зап. 16.04.2016, г. Пермь.
12. Интервью № 12. Ж. // Личный архив К. А. Тройчун; зап. 22.04.2016, г. Пермь.

Г.В. Сущек

ТОСКА ПО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМУ РЕАЛИЗМУ



В 1982 году Комар и Меламид начали арт-проект “Ностальгия по социалистическому реализму”. Героями работ художников стали ключевые фигуры истории XX века - Маркс, Ленин, Сталин, Черчилль, Рузвельт, Гитлер, и тд. Их образы были настолько устойчиво закреплены в сознании общества, что были равны поп-идолам вроде Мэрлин Монро и Элвиса Пресли. Стоит заметить, что речь здесь идет только об “образе”, который формировался с помощью масс-медиа, главным образом - печатных СМИ, и официальной массовой культуры: от обеденных тарелок с изображением вождя до монументальных полотен и мозаик.⁵⁷ Соответственно, художники иронизируют не над И.В. Сталиным, а над “коллективным мифологическим Сталиным” - порождением общества. Формальный метод, применяемый Комаром и Меламидом, заключается в утрированном цитировании стиля “старых мастеров”, столь же мифологического и прецедентного для советского человека. В картинах из “ностальгиче-

⁵⁷ Унксова М. Нонконформизм в русском искусстве. // Апраксин блюз, №12, 2004/. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://apraksinblues.narod.ru/AB12/Nonconformism.htm> (дата обращения: 09.05.2016)

ской” серии встречаются черты классицизма и отголоски последующих “подражательных” стилей. Кроме того, художники вводят в произведения постмодернистский жест произвольного совмещения форм, который означают авторским термином “полистилистический полиптих”.⁵⁸

Картина “Суд Париса, или Ялтинская конференция” была написана в 1989 году, уже во время перестройки. Причина возвращения художников к любимой в прошлом теме не ясна, возможно, есть основания связывать спекуляцию на “ностальгии” с коммерческими целями. Произведение имеет прямоугольный формат, размеры 152х300 см, что является апелляцией к классической монументальной живописи и отвечает демиургическим настроениям художников концептуализма. “Суд Париса” был продан в 2007 году на аукционе Macdougall’s в Лондоне за 184,4 тысячи фунтов в частное собрание в США, до этого находился в Ludwig Museum в Вене.⁵⁹

В произведении в ходе постмодернистской игры сталкиваются два привлекательных для историков сюжета. Первый сюжет - Ялтинская конференция 1945 года, в ходе которой лидеры государств-союзников во Второй Мировой войне И.Сталин, Ф.Рузвельт и У. Черчилль договаривались о “перерасделе мира”. На картине в действие включен А. Гитлер. Изображение героев картины обнаруживает некое портретное сходство с историческими персонажами, точнее, с их иконографическими образами, выработанными живописью тоталитарной эпохи.

Вторая история – миф о “яблоке раздора”, по сюжету которого сын царя Трои Парис назвал прекраснейшей из богинь Афродиту, оскорбив тем самым Геру и Афины, затем Афродита помогла Парису похитить Елену Прекрасную, из-за чего и началась легендарная Троянская война.

Комар и Меламид изображают момент “суда Париса” и обозначают присутствие богинь с помощью классического понимания женской телесности. Фигуры персонажей Рузвельта, Сталина и Черчилля

⁵⁸ Современное искусство в сети [Электронный ресурс] Динамические пары. Комар и Меламид. – Режим доступа: <http://www.guelman.ru/dva/para8.html> (дата последнего обращения: 1.05.16)

⁵⁹ Инвестиции в искусство [Электронный ресурс] Художники недели. Комар и Меламид. – Режим доступа: https://artinvestment.ru/invest/ideas/20100428_komar_and_melamid.html (дата обращения: 1.05.16)

наделены феминными для классической эстетики чертами: мягкость движений, подчеркнутая округлость форм, отсутствие созидательной динамики, эстетизированная статика, целомудренные жесты, «парящие» шаги. К Сталину робко прижимается ребенок, что говорит о том, что перед нами Афродита с вечным спутником Амуром.

Какой сюжет здесь первичен – мифологический или исторический? Как стоит обозначать персонажей – в рамках их контекстуальной принадлежности или иконического значения? Сложность возникает как раз из-за уровней восприятия вследствие возникающей цепи ассоциаций. Опираясь на идеи соц-арта, предположим, что основные персонажи – «лидеры держав», включенные в мифологический контекст и классицистический стиль. Встреча двух сюжетов стала возможной из-за общего «поля мифологии». Легенда о «яблоке раздора» и «Ялтинская конференция» тиражируются создателями продуктов массовой культуры с большим усердием. «Суд Париса» – эпизод мифа классического, «Ялтинская конференция» – прецедент нового мифа XX века о «счастливом обществе».

На картине изображены слева направо собака, мужчина, сидящий в развороте в профиль, к нему обращен стоящий мужчина, третий, у ног которого стоит ребенок, подает сидящему яблоко, крайняя фигура справа расположена к зрителю спиной. Посередине картины расположена яркая голубая полоса с белыми и зелеными кругами в розовых ободках, шириной с пятую часть холста. Полоса не закрывает, но разрезает произведение на две равные части, неравновесные по композиции. Две мужские фигуры и собака, отстоящие по краям, образуют первый план, три фигуры в центре находятся чуть поодаль, на другой линии. Пластическое построение композиции обусловлено гармонично направленными к центру жестами персонажей. Сложность определения центра композиции обусловлена «разрезанностью» картины голубой вставкой. Если умозрительно исключить вставку, кисть руки с яблоком совпадет с рукой Сталина, указующий жест будет принадлежать Рузвельту. Центр композиции (опуская вставку) помещен почти строго в центре картины, что отсылает нас к классицистической логике единого фокуса. Однако если включать в полотно все его составные части, центр окажется смещен влево. Соответственно, и смысловой, и композиционный центр находится в точке изображения яблока, которое Гитлер передает Сталину. Композиция статична, несмотря на развивающееся действие и подчеркнута утрированные широкие жесты и

движения Гитлера и Черчилля. Статика передает драматизм момента, фатализм, «роковой» выбор, за которым последует трагедия.

Композиция картины по расположению фигур почти полностью повторяет композицию работу П. Рубенса 1638-39 гг. «Суд Париса».



Однако сюжет Рубенса образует динамизм и криволинейность барокко. Женские фигуры обладают белизной и пышностью, драпировки волнообразны и невесомы, жесты персонажей подобны склоняющимся от ветра деревьям пейзажа, движению стихии подчинены все предметы, попадающие в поле зрения. В произведении присутствует пространственная глубина и дальний задний план. Барокко вступает в противоречие с окаменелыми, отягощенными идеей, обделенными пространством персонажами классицистического искусства.

Сюжет «Ялтинской конференции» разворачивается будто бы на сцене театра, что является основным приемом просвещенческой живописи французского классицизма и иконографическим канон для русского академизма. Герои оказываются выхвачены из полумрака рассеянным светом софитов, присутствует неясно различимый фон, скорее напоминающий часть театральных декораций, чем состояние природы, по краям полотно ограничено тонально подчеркнутыми «кулисами», границами, что образует организованное пространство статичного классицистического величия. Между зрителем и персонажами находится небольшой просцениум. Колорит произведения сообщает линейность классицистической живописи: в основе лежит рисунок, дополненный формообразующим цветом. «Валёрная» градация и tonальный колорит здесь передают эстетизированные цвета, образуя

щие единство. Теневая пластика подчеркивает образ атлетической физической красоты персонажей и делает фигуры объемными.⁶⁰ Художники используют лессировки для изображения телесного и стилизованно – иронично драпируют фигуры в мантии. Используются тонкие однонаправленные мазки, гладкие по фактуре. Градации красного, оранжево-бежевый, желто-коричневый, образуют тёплый колорит и, вкупе с ахроматическим черным указывают на преобладание нейтральной цветовой схемы.

Помимо беллетризированной иронической стилизации, полотно украшает «вставка» голубого цвета с симметричными рядами белорозовых и зеленых окружностей, обрамленных широкими неровными мазками розового цвета и такими же «видимыми» мазками тонального перехода от голубого к синему. Зеленый, розовый и голубой образуют комплементарную триаду цветов и холодный колорит. В силу геометрической симметрии и ритма плоских фигур можно отнести данную деталь произведения к стилю «оп-арт».

В XX веке появился продолжатель высоких традиций классицизма, носитель чистых идей, дидактики нового времени, обладающий ясностью образного нарратива, официальный стиль советской тоталитарной культуры *соцреализм*. Это был новый язык, включающий основные культурные коды, ставшие частью коллективных представлений советского общества. Спустя пятьдесят лет концептуалисты Комар и Меламид создают пародии на соцреализм, гипертрофируя стилевые особенности и сюжетный пафос. В свои работы они включают «поп-иконы» современной культуры – ключевых исторических персонажей. Художников отличает постмодернистская ирония и смешение языков, безусловная ностальгия, характерное для Нового искусства создание не полотна, но художественного жеста.

⁶⁰ Даниэль С. Европейский классицизм. – Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2003. – 302 с.

В.Кутдусова

ОТ КОММУНИКАТИВНОЙ ПАМЯТИ К КУЛЬТУРНОЙ: НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В НЕМЕЦКОЙ КУЛЬТУРЕ ПАМЯТИ

В недавно переведённой на русский язык книге немецкой исследовательницы Алейды Ассман «Новое недовольство мемориальной культурой» утверждается, что сложившаяся в 1980–1990-х гг. немецкая мемориальная культура претерпевает сегодня трансформации, сталкиваясь с новыми вызовами со стороны меняющегося общества⁶¹.

По мнению А. Ассман, мемориальная культура, ставшая основой для формирования ценностей послевоенного немецкого общества, сегодня сталкивается с трудностями при выполнении своих функций. Среди причин автор выделяет конец «эпохи очевидцев» исторических событий, а именно – свидетелей Второй Мировой войны и Холокоста. Во-вторых, это смена поколений. Поколение 1968 гг., чьими усилиями был разрушен занавес молчания о преступлениях национал-социалистов и указана «коллективная вина» обычных немцев в тех ужасных преступлениях, уходит с арены действия⁶². Мемориальные комплексы, «камни преткновения»⁶³ и памятники становятся привычным элементом повседневности. Старые модели и формы коммеморации исторического прошлого теряют свою актуальность. В век стремительно развивающихся технологий принятые модели слабо конкурируют с медиа ресурсами. Наравне с этим поднимаются вопросы о роли национальностей в формировании немецкой идентичности и функционировании мемориальной культуры в условиях миграции и потока беженцев. «Мемориальная культура, — пишет Ассман, — включает в себя собственную причастность к вине за совершенные преступления и сочувствие к чужому страданию, поэтому негативное бремя истории может быть преобразовано в прогрессивные ценно-

⁶¹ Ассман А. Новое недовольство мемориальной культурой / Алейда Ассман; пер. с нем. Б. Хлебникова. – М.: Новое литературное обозрение, 2016. – 232с.

⁶² Там же, с.9

⁶³ Официальный сайт проекта Гюнтера Демнинга «Камни преткновения» [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.stolpersteine.eu/>

сти»⁶⁴. Но много ли осталось от «чувства вины» в современной немецкой культуре памяти и что это за «ценности»?

В данной статье мы сами стараемся взглянуть на немецкую культуру памяти через ценностную систему координат, которая передается через историческую память. Ссылаясь на Я. Ассмана мы придерживаемся мнения о том, что культура памяти представляет из себя «особую символическую форму передачи и актуализации культурных смыслов, выходящую за рамки опыта отдельных людей или групп»⁶⁵. Опираясь на личный опыт работы⁶⁶ в одном из немецких мемориальных комплексов⁶⁷, мы постараемся описать практики коммеморации на местах бывших нацистских преступлений.

Немецкий опыт работы с собственным историческим «багажом» сегодня считается одним из успешных форм обращения с историческим прошлым. От молчания поколений послевоенных лет, через бунт поколения 1968 годов они смогли построить особенную форму работы с памятью, добившись не только общественного признания, но и поддержки со стороны государства. С 1990-х гг. мемориальные комплексы на местах бывших нацистских преступлений начинают набирать популярность. Сегодня они выступают мостом между настоящим и будущим – между современным обществом и историческим прошлым. Включая в себя образовательную, просветительскую и общественную цели они работают с памятью о нацистском прошлом. С конца XX века мемориальные комплексы существуют как крупные институции с четкой мемориальной политикой, определенными формами репрезентации, экспозиции и нарратива. Несмотря на это можно наблюдать плюрализм различных толкований и расширение восприятия событий тех лет. «По главной тенденции эту фазу можно назвать фазой откры-

⁶⁴ Завадский А. Память о нацизме: между историзацией и морализацией Андрей Завадский о книге Алейды Ассман «Новое недовольство мемориальной культурой» [Электронный ресурс] // «Colta». – 2016. Режим доступа: <http://www.colta.ru/articles/literature/10800>(дата обращения 11 11 2016)

⁶⁵ Репина Л.П. Культурная память и проблемы историописания (историографические заметки). Препринт WP6/2003/07 — М.: ГУ ВШЭ, 2003. — с11.

⁶⁶ Участник международного волонтерского проекта 2015-2016 гг. АСФ (Aktion Sühnezeichen Friedensdienste). – Режим доступа: <https://www.asf-ev.de/de/de/2015-2016> гг. (дата обращения 4 07 2016)

⁶⁷ Официальный сайт мемориального комплекса бывшего концентрационного лагеря Нойенгамме. – Режим доступа: <http://www.kz-gedenkstaette-neuengamme.de/index.php?id=4>(дата обращения 3 08 2016)

тия памяти на пороге перехода от коммуникативной памяти современников и свидетелей событий к ориентированной на будущее памяти культуры», – утверждает Лутц Нитхаммер в своих «Вопросах к немецкой памяти»⁶⁸. На какое же будущее она ориентирована?

Нацистское прошлое легло в основу современной идентичности немцев. «Реинтеграция Германии в круг цивилизованных стран произошла на основе негативной памяти, которая включила собственную преступную предысторию в коллективное представление нации о себе и ритуально поддерживает чувство вины посредством ее общественного признания»⁶⁹. Коллективная память «позволяет членам сообщества, преодолевая пространственные и временные дистанции, сохранять ценностные ориентиры и системы координат»⁷⁰, убеждает А. Ассман, опираясь на исследования своего предшественника М. Хальбвакса⁷¹. Перетекая из коллективной в историческую, память становится инструментом политических институтов, которые посредством обращения к прошлому транслируют ценности демократии в общество.

«Если же смотреть на послевоенное восприятие войны немцами через оптику истории культуры, обращая по традиции внимание на символы, то проявляются более единообразные паттерны, особенно при сравнении с другими странами – у держав-победительниц и у освобожденных ими наций Вторая Мировая война имеет, как правило, репутацию последней правильной войны или, во всяком случае, рассматривается как война, ценой величайших жертв – особенно в освобожденных странах Восточной Европы –реставрировавшая традицию их национального суверенитета»⁷², пишет Лутц Нитхаммер. Это довольно ёмкое по своему содержанию и форме предложение можно разделить на несколько составляющих, которые позволят нам описать немецкую мемориальную культуру.

⁶⁸Нитхаммер Л. Вопросы к немецкой памяти: статьи по устной истории / Пер. с нем. Москва.:Новое издательство, 2012. – 536с.

⁶⁹Ассман А. Новое недовольство мемориальной культурой / Алейда Ассман; пер. с нем. Б. Хлебникова. – М.: Новое литературное обозрение, 2016. С.6

⁷⁰ Там же.

⁷¹Хальбвакс М. Коллективная и историческая память [Электронный ресурс] // М.Хальбвакс // «Неприкосновенный запас». – 2005. – № 2-3. – с.40-41. – Режим доступа: <http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/ha2.html>(дата обращения 15 10 2016)

⁷²Нитхаммер Л. Вопросы к немецкой памяти: статьи по устной истории / Пер. с нем. М.:Новоеиздательство, 2012. С.422

Относительно обозначаемого Л. Нитхаммером «национального самосознания» мы уже говорили выше, когда упоминали о роли исторического прошлого в формировании национальной идентичности. Перейдем к более любопытным сюжетам.

Развернувшаяся в 1980-х годах дискуссия о природе демократии и основах западногерманской идентичности была спровоцирована, в первую очередь, гражданскими активистами, как и сама попытка сломать «молчание» о преступлениях национал-социалистов и вине немецкого общества. До сих пор коммеморативные инициативы исходят, в первую очередь, со стороны неравнодушных граждан Германии, но при усиленной поддержке государства. Это и отличает немецкую культуру памяти, ориентированную, в первую очередь, на общественные запросы. Удивительно то, что государство не только финансирует, но и само пытается интегрироваться в работу мемориалов или же в музейное пространство. Одним из примеров становится выставка о футболе в национал-социализме (*Hamburger Fußball im Nationalsozialismus*) на главной площади Гамбурга в здании Ратуши (*Rathaus*). На открытии с публичными речами выступала президент администрации города Гамбурга Карола Вайт (*Präsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft*).

Благодаря инициативе общественных организации, частных и благотворительных фондов осуществляется поддержка проектов, направленных на изучение истории национал-социализма. В течение 2015-2016 гг. проекты были поддержаны и проведены при сотрудничестве мемориала Нойенгамме с фондом «Память, ответственность, будущее» (EVZ)⁷³, Нижнесаксонским фондом мемориалов Миттельбау Дора и Бухенвальд⁷⁴, Университетом им. Гумбольдта⁷⁵ и др. Не

⁷³ Официальный сайт фонда «Память, ответственность, будущее» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.stiftung-evz.de/start.html> (дата обращения 17 08 2016)

⁷⁴ Официальный сайт Нижнесаксонского фонда мемориалов Миттельбау Дора и Бухенвальд [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.buchenwald.de/787/>

⁷⁵ Официальный сайт университета им. Гумбольдта в Берлине [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.hu-berlin.de/> (дата обращения 14 08 2016)

последнюю роль играют объединения бывших узников концентрационных лагерей и их последователей⁷⁶.

В основе немецкой культуры памяти лежат демократические ценности. Президент ФРГ Рихард фон Вайцеккер в своей речи, посвященной 40-летию окончания войны, заявил «о важности критического отношения к прошлому для сохранения демократической политической культуры, развития толерантности, уважения к универсальным правам человека»⁷⁷. За пышными или скромными коммеморативными практиками, семинарами для преподавателей и специалистов стоит идея равенства и свободы всех людей.

С начала 2000–х гг. начинают набирать оборот проекты исследования такой категории жертв, как Синти и Рома, наиболее известные в российском дискурсе как «цыгане». Сегодня борьба с антицыганизмом приобретает в Германии большую популярность, в частности, благодаря инициативе самих Рома. В июне 2016 года при поддержке мемориала Нойенгамме в Гамбурге была открыта мемориальная плита на месте бывшего вокзала – места депортации – Ганноверсхербанхов (Hannoversher Bahnhof) евреев, Синти и рома Гамбурга⁷⁸. Активное участие и выставка информационных стендов на официальном торжественном открытии были представлены сообществом Синти и Рома Гамбурга. В отечественном дискурсе принято употреблять понятие «цыгане», которое в немецком принято считать неполиткорректным.

С 1980-х гг. в немецкие институты памяти расширили круг жертв нацистского режима: заговорили о цыганах, гомосексуалистах, военнопленных и подневольных рабочих, о депортированных и изнасилованных, о жертвах бомбардировок. Все это позволяет, с одной стороны,

⁷⁶ Объединение бывших французских узников концентрационного лагеря Нойенгамме Амикаль Интернациональ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kz-gedenkstaette-neuengamme.de/fileadmin/user_upload/aktuelles/2015/Reden/Neustadt_engl_final.pdf (дата обращения 11 09 2016)

⁷⁷ Лезина, Е. Память, идентичность, политическая культура и послевоенная Германская демократия [Электронный ресурс] / Е. Лезина // Отечественные записки. – 2013. – №6. –с. 162-178. – Режим доступа: <http://www.strana-oz.ru/2013/6/pamyat-identichnost-politicheskaya-kultura-i-poslevoennaya-germanskaya-demokratiya>(дата обращения 13 10 2016)

⁷⁸ Информация об открытом павильоне и памятной плите на месте бывшего вокзала [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://hannoverscherbahnhof.hamburg.de/>(дата обращения 13 11 2016)

указывать на примеры дискриминации государством разных групп по разным религиозным, сексуальным и т. п. основаниям, с другой стороны, это возможность расширять формы восприятия Второй Мировой войны и совершать интернациональную интеграцию разных этнических групп в современном немецком обществе.

За чередой различных мероприятий, кажущихся на первый взгляд само собой разумеющимися, скрывается разделяемая обществом культурная и правовая основа демократического общества. Плюрализм партий, движений, и групп обеспечены законом в немецком обществе. «Свобода слова» предоставляется такой категории исторического нарратива как «потомки преступников» («Täterschaft»). В рамках семинарских встреч и дискуссий «Преступник, преступница в семье?» («Ein Täter, eine Täterin in der Familie?») в мемориальном комплексе обсуждалась другая сторона медали. Устоявшиеся тенденции в культуре памяти строятся вокруг концепта «жертвы», где основной фокус падает на так называемых «жертв нацистских преступлений». Данный концепт распространяется и на их детей и родственников. Семинар был предназначен для тех, кто интенсивно занимается исследованиями истории своих предков, замешанных в национал-социалистических преступлениях. Результатами этих семинаров и выступлений стал новый документальный фильм и печатная публикация, где ставились вопросы лояльности или нелояльности к семейным историям, моральные аспекты семейного опыта после 1945 года, психологические последствия для родственников и предполагаемых формах встреч для детей преследовавших и преследуемых.

Другой проект, затрагивающий проблему поиска новых форм коммеморации, это разработка новой цифровой платформы. Речь идет об интернет-блоге «Нацистские преступления и их отражение в семейных историях»⁷⁹. Блог представляет возможность высказаться тем, чья память оказалась выброшенной за пределы общей разделяемой памяти о нацистском прошлом.

Каркасом современной немецкой культуры памяти является Холокост и Национал-социализм. В рамках этого дискурса осмысление преступлений происходит путем сопоставления двух категорий:

⁷⁹Официальный сайт блога «Нацистские преступления и их отражение в семейных историях [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://rfhabc.org>(дата обращения 11 03 2016)

Жертвы и палача. На этот конструкт нанизывается все остальное. На сегодняшний день эта конструкция остается важным и актуальным, хотя и меняет свои формы. Рассмотрев перечень мероприятий мемориала Нойенгамме можно говорить о расширении круга жертв в двух направлениях: пространственный и временный. В первом случае мы можем говорить о популяризации исследований новых категорий жертв. Все более актуальными становятся партнерские проекты с российскими институциями. Мемориальный комплекс Нойенгамме поддерживает контакты с Региональным центром устной истории в г. Воронеж⁸⁰, где совместными усилиями составляется база данных о советских военнопленных, являвшихся заключенными концлагеря Нойенгамме. Также архив Нойенгамме активно принимает участие в молодежном проекте, инициированном школьным учителем истории по поиску имен неизвестных солдат Красной Армии, похороненных на севере Германии⁸¹. Вторая крупная категория жертв национал-социализма, вводимая в современные мемориальные институты – это подневольные рабочие из Восточной Европы. В этом году жителям и гостям Гамбурга была представлена выставка «Немцы, подневольный труд и война» («Die Deutschen, die Zwangsarbeiter und der Krieg»), которая рассказывает о более чем 20 миллионах мужчин, женщин и детей почти со всей Европы, использовавшихся как «иностранные рабочие»⁸².

Другим крупным проектом Нойенгамме в сотрудничестве с музеем работы⁸³ стала международная конференция «Разделенная память? Воспоминание о подневольных рабочих в национал-социализме в Европе в XXI веке» (“Geteiltes Gedächtnis? Erinnerung an die NS-Zwangsarbeit im Europa des 21. Jahrhunderts”)⁸⁴. На конференцию были

⁸⁰Официальный сайт Регионального центра устной истории [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://historyvoice.ru/?file=kop1.php>

⁸¹Официальный сайт гимназии Вернер-Хайзенберг [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.whg-heide.de/pages/unterricht/geschichte.php> (дата обращения 7 08 2016)

⁸² Официальный сайт выставки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.ausstellung-zwangsarbeit.org/homepage/> (дата обращения 11 08 2016)

⁸³ Официальный сайт Музея Работы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.museum-der-arbeit.de/de/home> (дата обращения 11 08 2016)

⁸⁴ Официальный сайт конференции [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www2.hu-berlin.de/forcedlabour/> (дата обращения 7 08 2016)

приглашены специалисты из разных стран, где они демонстрировали свои исследовательские результаты о том, как в последние годы развивается научное изучение и мемориализация подневольного труда в период национал-социализма. На встрече рассматривались разные перспективы на подневольный труд с точки зрения национальных особенностей. Так же обсуждались различные группы и условия их существования в нацистских лагерях. Была предложена инициатива пересмотреть коллективный опыт принудительного труда вне зависимости от национальных перспектив в общем европейском пространстве. История подневольного труда была предложена в качестве базиса для общей европейской памяти. Таким примером выступает альтернативная экскурсия по порту Гамбурга («Alternative Hafenrundfahrt»), где рассказывают об истории строительства порта в период национал-социализма («Der Hamburger Hafen im Nationalsozialismus»).

Большое внимание уделяется категориям жертв из стран бывшего Советского Союза. В 2015 году Бундестагом был принят проект закона о выплате компенсации бывшим советским военнопленным⁸⁵. Можно предположить, что речь идет о попытке улучшить русско-немецкие отношения в условиях современного кризиса.

Утверждение о том, что актуальные проблемы современности вызывают необходимость обращения к прошлому для разрешения конфликта, можно рассмотреть на кейсе такой категории жертв как «группа женщин принужденных к проституции». Сегодня в фондах мемориала хранятся десятки интервью с выжившими узницами, которые по разным причинам оказались в лагерях. Судьбы этих женщин в лагерях и после освобождения сложились по-разному. Не все они были готовы рассказывать о тех страданиях, что выпали на их долю. Они оказались не полностью включенными в дискурс о жертвах национал-социализма. Есть категория жертв среди женщин, которая до их пор оказывается вне мемориальной культуры. Около 13 500 из 100 000 узников Нойегамме были женщинами. С 1944 г. многие из них были заключены в 24 внешних лагерях как еврейки или цыганки, политические оппоненты (politische Gegnerinnen), свидетели Иеговы, социально

⁸⁵ Положение о выплате денежного пособия бывшим советским военнопленным [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.badv.bund.de/DE/OffeneVermoegensfragen/AnerkennungsleistungSowjetischeKriegsgefangene/start.html> (дата обращения 17 07 2016)

стигматизированные женщины или бывшие подневольные рабочие. В главном лагере Нойенгамме СС («Schuetz Staffe») эсэсовцы принудили 22 женщин к проституции. Одна из семинарских встреч «Женщины в концентрационном лагере» («Frauen im Konzentrationslager») была посвящена узницам концлагерей, где затрагивались особенные женские стратегии выживания, раскрывалась тема принудительной проституции в концлагере. Насколько этот пример связан с усилением в современном немецком обществе тенденции дискриминации женщин – судить сложно.

С другой стороны, круг жертв развивается и во временной протяженности. После окончания войны прошло уже 75 лет. Многие свидетели нацистских преступлений находятся в возрасте 90 и выше. Состояние здоровья и общее самочувствие многих из них не позволяет приезжать на мемориальные встречи или проводить встречи со школьниками в своих городах и странах. Сотрудники мемориалов понимают, что необходимо искать новые формы коммуникации. В этом плане можно говорить о новом понятии «свидетелей». Все более часто проводятся встречи со вторым и третьим поколениями – детьми и внуками очевидцев и участников трагедии середины XX века. Мемориал ищет новые пути для конструирования мемориальной культуры.

Уже говорилось, что плюрализм и эмпатия по отношению к жертвам становится одним из важнейших посылов, которые передаются посредством мемориализации исторического прошлого. Обратимся к сюжету об эмпатии. Когда мы говорим о памяти или воспоминании мы подразумеваем социокультурный конструкт, направленный на формирование определенного образа прошлого с позиции настоящего и функционирование конструкта «Жертва-Преступник». Эмпатия, а именно умение сопереживать, становится важным, когда «концепт вины» для современных поколений перестаёт функционировать. Сюжетами, помогающих детям сопереживать таким же детям как они, становятся новые «нарративы», добавленные в тексты экскурсии по мемориалу. К ним относится рассказ о том, как для медицинских испытаний СС врача Курта Хайсмайера в 1944 г. были привезены 20 детей из Аушвица – 10 мальчиков и 10 девочек в возрасте от 6 до 12 лет. Дети выжили в результате медицинских экспериментов, но лагерное начальство решило избавиться от детей, чтобы скрыть следы своих преступлений. 20 апреля 1945 дети вместе с 24 советскими заключёнными были повешены в подвале внешнего лагеря Нойенгамме Булен-

хузер Дамм. Сегодня на этом месте находится еще один мемориал Буленхузер Дамм и сад Роз для детей из Буленхузер Дамм («Gedenkstätte Bullenhuser Damm und Rosengarten für die Kinder vom Bullenhuser Damm») ⁸⁶.

Обозначая инструменты конструирования немецкой культуры памяти, наряду с эмпатией нужно отметить важную роль работы с биографическими кейсами в изучении национал-социалистического прошлого. Демонстрируя два различных сюжета из истории комендантов двух женских концлагерей, один из которых пытался спасти судьбу новорожденного и матери ⁸⁷, а второй хладнокровно и жестоко обращался со всеми узницами и их детьми ⁸⁸, сотрудники мемориалов говорят о возможности активного выбора для каждого человека.

Курс повышения квалификации (Die Curiohaus-Prozesse Neuere Forschungen über die britische Strafverfolgung der Täter des KZ Neuengamme) продемонстрировал недавние исследования о британском судебном процессе над преступниками концлагеря Нойенгамме, показывая необходимость гласности действий не только государственных органов, но и должностных лиц, возможность беспрепятственного контроля за ними со стороны общества. Десятилетиями оценка этих процессов представляла сложность. Лишь в 1969 году была опубликована первая стенограмма процесса. Организаторы представили современное состояние исследований и рассмотрели вопросы: Как союзники готовились к преследованию после войны? Как началось расследование в отношении лиц, виновных в Нойенгамме, как основной процесс был подготовлен? На каком законном основании базируются эти и другие дела британцев против нацистских преступников в Нойенгамме и его спутников лагерях-спутниках, кто сидел на самом деле вместо преступников в суде?

⁸⁶ Официальная страница мемориала бывшего концентрационного лагеря Буленхузер Дамм [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.kz-gedenkstaette-neuengamme.de/ausstellungen/bullenhuser-damm/> (дата обращения 17 05 2016)

⁸⁷ Архивные данные мемориального комплекса Нойенгамме [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://media.offenes-archiv.de/ss1_3_1_bio_2118.pdf(дата обращения 2 08 2016)

⁸⁸ Архивные данные мемориального комплекса Нойенгамме [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://media.offenes-archiv.de/ss1_3_1_bio_2118.pdf(дата обращения 2 08 2016)

Сегодня можно увидеть, как многие, в том числе и бывшие посткоммунистические страны заимствуют немецкую модель конструирования идентичности на основе негативной памяти. Российские общественные и политические объединения, такие как «Мемориал»⁸⁹, пытаются использовать немецкую модель, работая с памятью о политических репрессиях. Но насколько эти попытки успешны в контексте разных систем ценностей и паттернов войны? С одной стороны, ФРГ с образом войны как бессмысленной жестокости, с другой стороны Восточная Европа, где война – это борьба добра и зла, где есть герои и захватчики, где борьба между ними завершается справедливой победой.

Личный опыт работы в мемориальном комплексе бывшего концентрационного лагеря и участия в конференциях, посвящённых этой теме, заставил меня задаться вопросом: а правда ли немецкая модель настолько успешна и универсальна? Каковы ее плюсы и минусы?

Исследуя причины появления новых форм памяти о прошлом, мы отмечаем роль конфликтов памяти внутри европейского общества. Различные субъекты памяти, такие как органы государственной власти, религиозные учреждения, общественные организации, ассоциации бывших узников и их преемников, средства массовой информации, учреждения культуры и образования и другие заинтересованные стороны начинают играть большую роль и становятся центральными в формировании новых областей в культуре памяти. Спустя 70 лет после войны уже третье и четвертое поколение говорит о событиях прошлого, осваивая его в школах, через медиа и семейные истории. Разные поколения рассказывают разные истории с разным опытом и скрывают разные вещи. Особо важную роль в формировании новой памяти для немцев начинает играть память о ГДР, которая может перевести фокус с нацизма на сталинизм и его преступления; это и попытка интегрировать беженцев с их опытом дискриминации и гонений, сопоставляемый с опытом немцев вынужденных оставить нацистскую Германию или бежавших из Восточной Германии в Западную и наоборот; это и изнасилования женщин солдатами Красной Армии и бомбежка Дрездена союзниками в 1942 гг.

⁸⁹Официальный сайт международного историко-просветительского, благотворительного, правозащитного общества Мемориал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://memo.ru/about/index.htm> (дата обращения 17 08 2016)

Перед научным сообществом, перед сотрудниками мемориалов, общественностью встают новые вопросы, затрагивающие новые субъекты исторической политики, новые группы, и расширяющие понятие жертвы. Открытыми остаются вопросы поиска мультиперспективного взгляда на события тех времен и создание транснациональной памяти. Несмотря на успешную интеграцию новых концептов в общую работу мемориалов, до сих пор остаются открытыми вопросы о будущем мемориальной культуры. Как сохранить память в условиях глобализации, миграционных процессов и связанных с ними тенденций? Как бы то ни было, есть о чем поговорить и над чем поработать. В этой связи призывы прекратить говорить о национал-социализме и построить идентичность на позитивной истории оказываются еще более бессмысленными. Однозначно можно сказать одно: перемен немецкой культуре памяти не избежать.

**МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИИ
«XX ВЕК: КУЛЬТУРА ПАМЯТИ»
(РЕФЛЕКСИИ И ОБРАЗЫ)**

Стенограмма

подиумная дискуссия

**КУЛЬТУРА ПАМЯТИ
В КОЛЛЕКТИВНОМ СОЗНАНИИ СОВРЕМЕННОКОВ**

Галина Янковская (ПГНИУ):

Здравствуйте. Очень рада видеть знакомые лица, незнакомые тоже рада. Честно говоря, *организаторы избралинеожиданный* формат, надо посмотреть, как он сработает. Я только что вернулась с конференции «Прошлая чужая страна: публичная история в России» в Высшей школе экономики, которая задавал вектор, ну скажем так, и обсуждения и развития вот этого нового формата «publichistory», нового для России. И во многих своих суждениях и каких-то аргументах я буду опираться на программу и впечатления от этой конференции. Первое, что мне хотелось бы сказать в этой аудитории, заключается в следующем. Мне представляется, что исследование памяти, разнообразные *memoriesstudies* перешли какую-то грань, которую в академических исследованиях не всегда стоит переходить. Эту грань я называю популярностью академической моды. Напомню, что где-то в середине 90х годов у замечательного исследователя русской культуры Лоры *Энгельштейн* появилась статья под названием «Культура, культура, ну повсюду культура». Это был бум популярности культурной истории, культурно-исторического подхода, и мы сегодня четко фиксируем некую усталость, исчерпанность *профессионального, экспертного* сообщества от категории «культура». Нечто подобное, мне кажется, в ближайшее время произойдет с исследованием памяти, потому что память, память, повсюду память. О чем бы ни говорили, так или иначе, обращаются к этой категории. Память превращается, коллективная, культурная, социальная, иная, коммуникативная, перформативная, как угодно, она превращается в такой большой метонарратив со всеми его большими интенциями и негативными последствиями для академического сообщества. Вот это первое наблюдение.

Второе. Мне представляется, что вот эту большую категорию дискредитирует сам сюжет и сообществу необходимо предпринимать

некоторые действия для того, чтобы не происходило вот это размывание профессионального экспертного разговора.

Дальше. Очевидно, что рассуждения о памяти все больше и больше *инструментализируются*, и, когда вот здесь сидящее экспертное сообщество размышляет в разных форматах о памяти, ее противоречивых изменениях, так или иначе, мы все равно сталкиваемся: а) с исторической политикой, б) с символической политикой. И вот эта политизация проблематики тоже, мне кажется, очень уязвимым таким местом, не скажу *ахиллесовой пятой*, но, в общем, уязвимым местом.

Еще один сюжет – это появление огромного количества гибридных академических полей. Нувотсмотрите, где разграничение между *memory studies, heritage studies, trauma studies, identity studies, cultural studies*? Исследование культуры, идентичности, памяти, наследия, травмы – они практически пересекающиеся поля. Я уже не говорю про большие, состоявшиеся, безусловные такие дисциплины, вроде социологии, литературы, истории большой и т.д. Что это, подлинная междисциплинарность? Но тогда должно было идти формирование нового междисциплинарного предмета исследования. Или это какое-то новое гибридное состояние гуманитарного знания? Вот это, мне кажется, тоже любопытный сюжет, о котором можно было бы говорить.

Ну и еще один тезис. В рамках вот этих исследований, разговоров о памяти происходит выход за тексты, за вербальные тексты мы, *профессиональные историки*, все-таки привыкли больше работать с текстами: «Тексты – наше все, документы – наше все». Но в исследованиях памяти, по крайней мере, то, как их *продемонстрировали на последней* конференции в Высшей школе экономики, очевидно, такой поворот происходит в сторону невербальных форматов, невербальных полей. Например, очень много интереса вызывают различные перформативные, театрализованные, связанные с презентацией себя форматы памяти. *Я говорю, например, об аффектах – эмоциональной окраске событий прошлого*. Частично это отражено и в программе конференции. Пространственное изменение памяти. Телесные изменения памяти и т.д. То есть, выход за рамки текста. Но вот, в качестве примера, несколько тематических областей, о которых шла речь. Скажем, о федеральном военном мемориальном кладбище России. Что это такое, почему оно появилось и как оно соотносится с контекстом вот таких государственных военных мемориалов? Я думаю, что для многих, непонятно *было* вообще, о чем идет речь. Это исследование Михаила

Габовича, на протяжении нескольких лет которое он проводит: государственная поддержка особого места, где должны будут быть похоронены *российские* государственные деятели, куда будет перенесен мемориал у кремлевской стены, где будут *погребены* скончавшиеся генералы. Сейчас это закрытый объект на площадях, принадлежащих министерству обороны, с перспективой в то, что это превратится в национальный мемориал, И, к слову, в дополнение, вспомните, что в этом году был заявлен такой академический проект – исследовательский журнал культурно-антропологического толка, посвященный культуре смерти в России и исследованиям траурной культуры.

Второй момент, это презентация в пространстве, в различных форматах, художественных и не только, мифологических или не очень достоверно известных деятелей, персонажей российской истории. Например, был совершенно феноменальный доклад А. Силиной из Санкт-Петербурга «Образ Рюрика в современном пространстве северо-запад России». То, как Рюрик превратился в культового героя в северо-западных областях, это отдельная интересная история. Но еще интереснее, это доклад был Виктора Шнимельмана о том, как князь Святослав представлен на современных территориях России и какие националистические и консервативные сюжеты связаны с меморизацией этого персонажа.

Существует множество каких-то активистских практик памяти, которые, понятно, не совсем проходят по категории истории, но требуют, мне кажется, рефлексии и наблюдения. Например, в свое время, полтора года назад, бурю эмоций и самые противоречивые суждения вызывало группа юбилейного года театра на Таганке. Это были молодые ребята, выпускники школы театрального лидера, которые пришли вот в это культовое место после смерти не менее культового основателя и режиссера и попытались разобраться что это было за явление, какая в нем существует память, каким образом с ним можно работать, что неужели вот этот живой организм и очень значимый театральный проект «Театр на Таганке» нужно оставлять в памяти в тех форматах, в которых мы привыкли. Как это меморизировать? Как это об это разговаривать? Они предложили формы современной культуры – это различные перформансы, театральные постановки, живые какие-то студенческие формы активности. И у болельщиков этого театра, у поклонников этого театра это вызывало совершенно неоднозначную реакцию. Получается, что инновационные формы памяти порождают

конфликт. И вот на этой точке, память как сфера конфликтов, я бы хотела остановиться. Спасибо.

Олег Лейбович (ПГИК):

*Позволю себе несколько замечаний. Суждение первое. Вот эта мода на память, на мой взгляд, тесно связана со статусом истории в современных культурах, что в российской, что в европейских. Про американскую не скажу, там она никогда высокого статуса не имела. То есть, в обществе *большого потребления*, люди относятся к своему прошлому примерно так же, как товарным услугам в хорошем универсаме: прошлое должно быть красивым, удобным, комфортным, блестящим, естественно, доступным в управлении, как любой *гаджет*. *Пальчиком прикоснуться – вот и все усилия*. Поэтому, историческое знание в том виде, в котором оно складывалось в университетах в течение полутора веков, теряет желающих с ним познакомиться, иначе говоря, теперь книжки теряют читателей. *Вспомню разговор с Николая Вертом. Он издал новую монографию по русской истории и представлял ее в самых крупных книжных магазинах Парижа. Я спросил о публикации. Кому это интересно. Он мне сказал: «Олег, ты всех посетителей тоже в лицо знаешь».**

*Историки смириться с такой ситуацией не хотят. И в их среде появляются два варианта выхода из тупика. Первый ответ гласит: сделаем историю конфетной, иначе говоря, совершенно популярной, красивой и вкусной, *самое главное – доступной*. В России за этот вариант активно выступает Сергей Эрлих. Он говорит: вы тут пишете, книжки издаете, сами по себе радуетесь, а народ, постой народ *пребывает* в заблуждении, глупых милордов таскает с рынка, а вы напишите, говорит, как эти самые глупые милорды и тогда вас народ, *в конце концов*, полюбит, и история вернется. Ну а второй вариант, *о котором* сейчас Галина Александровна, рассказала сейчас очень емко. Это замещение истории публичной памятью. То есть, давайте мы не будем ходить в архивы, там скучно, там пыльно, там злые тети и дяди. *Они фотографировать не разрешают, запрещают что-то брать себе на память*. А давайте мы обратимся к живой истории поколений, давайте мы будем слушать рассказы дедушек, будем слушать рассказы родителей, будем их записывать, пересказывать. И если они рассказывают, в общем, не совсем то, что было когда-то – это неважно, потому что память, настоящая память, она важнее того, что выкопают в этих бумагах специалисты, *флюсу подобные*. Их товарищ Сталин называл*

архивными крысами, и объяснил в 1931 году, что нечего в архивных документах копать, *правду* все равно там не найдете. ... Но тогда *историческая* публика еще не готова была это воспринять. Прошло там три поколения – восприняла, не только наша, но и европейская. И возникает, естественно, *конфликт памяти*, о котором Галина Александровна рассказала. *Общей памяти нет. Есть память локальная, профессиональная, память групповая. В культуре генерируются и воспроизводятся* разные горизонты воспоминаний *на фоне общепредставления об истории.* В Питере местное начальство установило мемориальную доску в честь маршала *Маннергейма. В Хельсинки ему памятник стоит – единственная конная статуя в Финляндии. Такой вот рыцарский поступок, памятник противнику в Мировой войне. Что с того, что был союзником Гитлера и участвовал в блокаде Ленинграда.* Зато служил в русской императорской гвардии и был генералом. *И красных победил. Для других людей он, прежде всего, военный преступник, по каким-то дипломатическим резонам не повешенный по приговору суда. И вряд ли эти мнения когда-либо сойдутся.* Кроме войны памятников, естественно, есть, так скажем, война образов визуальных, кинематографических и прочих, и прочих. И вот в этом памятном конфликте, тетепогу конфликт, на самом деле *проявляется* куда более глубинный конфликт. *Я говорю о культурном расколе в обществе, в котором мы с вами все живем, где нет единого языка, и если появляются одни и те же слова, то они имеют разные значения у тем более у слышащих и понимающих.* Поэтому, когда история, замещается исторической памятью и культурной памятью, то, конечно же, достижения этой науки в большой степени обесцениваются потому, что некуда ее транслировать и очень трудно привлекать новых людей *в профессию*, обесценивается тем, что вспоминать легче, чем исследовать. А память в этом отношении куда более живее, эмоциональнее, изменчивее, подвижней, то есть это хорошее поле для коммуникаций, давайте вспомним вместе, и все такое прочее. То есть история теряет свои профессиональные достижения, теряет статус, а ее место замещают вот эти смутные образы вчерашнего времени, в которые всегда и в любом месте вторгается государство, *то есть чиновники. Они говорят: мы главные* и теперь мы вам сделаем настоящую память. Но, поскольку, любое государство работает со всеми ресурсами очень прагматично, то *государственная* память меняется, и в публике появляется вот такая замечательная идея, что мы страна с неопределенным про-

шлым и с изменчивым прошлым. Почему? Не потому, что историки чего-то нашли и пересмотрели старые концепты, а просто потому, что власть сказала: вот этого не было. Революции 1905 года в России не было, ну, может что-то такое и было, но вообще-то ее не было. *Посмотрим, как будут обстоять дела с годом 1917. Что будет правильным помнить. Или забыть. Вспомню пушкинские строки. Диалог двух вельмож в «Борисе Годунове»: А помнишь ли...? – Теперь не время помнить».*

Галина Янковская:

Если посмотреть на *утвержденную* приказом министерства образования для базовой школы «Единую концепцию учебно-методического комплекса по истории», куда входит и историко-культурный стандарт, то в ней есть такая фраза: «Великая русская революция». Но этот документ 13 года происхождения, И я не знаю, что они будут делать с историко-культурным стандартом с такой оценкой дальше.

Андрей Кабацков (НИУ – ВШЭ):

Я бы, если возможно, акцентировал внимание на одном сюжете, который прозвучал уже дважды, предложен был вниманию нашей подиумной дискуссии, а именно, трансформация памяти, перехода ее из состояния вот этого какого-то живого личного воспоминания в некий общепризнанный факт, *в некоторой степени* отчужденный уже от личного. Здесь я бы указал, скажем, на дневник уже известного в Перми, и не только в Перми рабочего, когда мы, обращаясь к непосредственным записям войны, послевоенного периода можем видеть, что для людей тыла война содержала *иные* формы *переживаний*, сами военные действия превращались в сводки Информбюро и вытеснялись из повседневных переживаний. Вот эти ощущения, вот эти комплексы каких-то, ну, может быть, даже сказать эмоций, социальных по своему наполнению, коллективных, принадлежат *определенной* группе. *Со временем эти непосредственные переживания замещаются* общей памятью, заимствованной из телевизора, заимствованной из властного дискурса. Обращаясь тоже к некоторым ближайшим, недавним участиям в конференциях, как Галина Александровна я тоже был в Высшей школе экономике, но в другом *помещении*, *Тема конференции: Война и мир, вторая мировая война.* Конференция изобиловала исследованиями, которые решали, можно сказать, главную задачу: как дей-

ствовала власть. Взгляд сверху. Этот выбор историков мы можем идентифицировать либо как наследие концепции тоталитаризма, *либо какосвоение метода экономики мышления: работаем с самыми доступными материалами: приказами, директивами, отчетами и протокольными записями.* А это означает, что наше, в широком смысле, профессиональное сообщество историков игнорирует вообще-то социальную *историю*, вместо истории людей предлагает историю власти.

Анна Кимерлинг:

Я бы вот хотела сказать по поводу т.н. *ликвидности* исторического знания. *Что покупают историков? Или знание, или миф.*

Начну с того, что бывает, именно когда обращаются к профессиональному сообществу. Многим из нас встречались когда какие-либо организации (нотариусы, прокуратура, больницы, заводы), которые начинают заказывать свою *ведомственную историю*. То есть, просят сделать такое глянцевое издание, в котором будут, конечно, в большей степени героические сюжеты, но при этом эти сюжеты должны подкрепляться архивными материалами, фотографиями, они для этого обращаются к профессиональным историкам или просто в архив приходят, говорят: вот, может быть, вы нам поможете, найдете кого-нибудь, кто нашу историю напишет. И вот эти вот издания на глянцевой бумаге, очень красивые, это вот с одной стороны. *С аналогичной ситуацией сталкиваешься* в гостинице: *в номере* лежала книжка по истории города на *тумбочке*. То есть, специально это все покупается, заказывается для того, чтобы можно было показать эту историю приезжим. С другой стороны, *покупают мифы, чтобы* придать какую-то *дополнительную* значимость территории. У многих районов Перми случаются юбилеи, но им не нравится, что им, допустим, 70 лет, они предпочитают, что тут было, ну, может быть, лучше 1000, но постарше Перми, по крайней мере, точно. Поэтому, опять же обращаются к историкам с просьбой, проводятся конференции тут же, какие-то издания, статьи, но, зачастую, просьба, именно с научной точки зрения обосновать. И один сюжет хотелось бы рассказать. Это было на Украине, Коростень, там стоит памятник княгине Ольге и, более того, там были специальные церемонии *Праздник, где* княгиня Ольга просила прощения за то, что она сожгла древлян. Сделали инсценировку и переиграли историю.

Андрей Кабацков:

Но тут возникает вопрос: кто придает продукту статус исторического знания, кто верифицирует? То есть, в конечном счете, игры в историю могут быть разные: можно играть в воображаемую историю, как там инсценировки на тему различного фэнтези, а можно играть в историю древлян и это вдруг приобретает статус не игры, а, скажем, какого-то знания.

Анна Киммерлинг:

Легитимация, все равно идет от профессионального сообщества.

Олег Лейбович:

Нет, *изданием* как с неким продуктом подлинного исторического знания, Заказчик, который ссылается на это все, как на непреложные факты, добытые настоящими историками, То есть здесь, как обычно, статус товару придает потребитель, тот потребитель, который хочет этот товар *поглотить*. *Вот хочет он что-то вкусного - и продавец тут как тут: чего изволите, в момент сооружу из самых доброкачественных исторических продуктов, изготовлю и продам доброкачественное аппетитное блюдо. В исторической упаковке.*

Галина Янковская:

Может быть, мы не будем столь *инвективны*, звучит, может быть, это просто разные форматы исторического знания, разные форматы исторической культуры, которые сформировались на протяжении достаточно долгой истории этой дисциплины, и мы сейчас сосредоточены исключительно на таком академическом научном знании, но ведь история существует в разных формах. *Например, в комментариях.* Игорь Николаевич Данилевский в свое время абсолютно убедительно доказал, что «Повесть временных лет» сплошь состоит, на самом деле, из *библейских* цитат. Может быть, история - это универсальная форма существования памяти, обращения к неким коллективным образам и форматам. А если говорить о районах, прокуратурах, кварталах, которые заказывают свою историю *то*, в общем, чем это отличается от каких-то микроисторий, микролетописей, от краеведения, которые существуют, бог знает сколько времени. Разные форматы исторического знания и исторической культуры – это *предмет* для обсуждения, а не для *осуждения*.

Александр Скиперских (НИУ ВШЭ):

Уважаемые коллеги, вот я о чем хотел сказать по поводу легитимации, вообще, как процесса. Это процесс двоякий, он предполагает

некую синхронизацию субъекта и объекта в данном процессе, которые постоянно меняются местами внутри него, которые постоянно находятся в игре диспозиций, такой хореографии диспозиции. Здесь необходимо понимать, что, если мы говорим о культуре памяти, о практиках по утверждению данных процедур, то в них принимает участие и само общество, и исследовательский корпус, и интеллектуалы, и сама власть. Здесь определенный круг проблем возникает, связанных с тем, как себя вести. Но как мне кажется, все равно власть здесь опережает общество, и более предпочтительной кажется позиция власти, потому как она постоянно задает некие сюжеты, некие схемы, она передергивает, она постоянно троллит общество и исторический дискурс, который, так или иначе, должен власти подчиняться и следовать за ней в русле ее установлений. И в данном смысле есть какая-то, может быть, обреченность и с нашей стороны, потому как мы должны принимать эти правила игры и разрабатывать новый пласт знаний, который, может быть, где-то *стимулирует* более какие-то крутые нормативы, я имею в виду сейчас историческое знание.

Андрей Кабацков:

Я бы *позволил себе оспорить* тезис о том, что *власть едва ли не единолично формирует историческую память*. Память и историческое знание – это все-таки социальные явления, а когда мы говорим власть – давайте будем говорить тогда о конкретных властных группах. Вот Анна Семеновна *обнаружила их в предпринимательских сообществах*. Кроме предпринимателей есть и другие социальные группы, мы можем их обозначить рабочие, офисное сообщество, можем пойти, ну скажем, по другой традиции, там обозначить горожане, мы можем даже использовать не научный дискурс и назвать их обывателями, но происходит ситуация, на мой взгляд, отказа ими от собственных представлений. И, когда конструируется, допустим, история Мотовилихинского района, то здесь мы видим, опять же, ориентацию на модель пермского культурного проекта с названием «Культурная столица», то есть надо все очистить, так как очистить на улицах сложнее, то хотя бы в книжке. И тогда история приобретает всего лишь такой статуссоциальными ожиданиями, поэтому проблема в том, что историческое, профессиональное, научное сообщество *вписывается в такую стратегию мифотворчества, или чужоюзаемной памяти. Люди творят воображаемую реальность по телевизионному образцу и подобию. Творят по-разному, в соответствии со своим культурным горизон-*

том, освоенным языком, воспринятой традиций, в том числе и книжной. Иное дело, что процесс консолидации социальных группировок еще далек от завершения. И человек волей-неволей идентифицирует себя не с реальным своим сообществом, но с воображаемым, или с государственным. И тогда коллективная память вступает в очень сложные реакции с памятью официальной, или модной.

Андрей Бушмаков (ПГИК):

Я бы вот хотел эту тему соотношения исторической науки и памяти с несколько другой стороны посмотреть. Коллеги-историки, действительно, кризис своей науки обсуждают регулярно *в течение последних ста лет*. Первый профессиональный историк в Перми – Александр Алексеевич Дмитриев *в начале XX века* жаловался, что его никто не читает, никто не покупает его книг, тираж «*Пермской летописи*» не разошелся. Шишонко, напротив, пользовался большей популярностью, *хотя был любителем*. Чем занимались историки пермского университета в конце 40х – начале 50х годов XX века? *Только не наукой*. Ну и, конечно, была академическая мода, была гендерная история, история повседневности. Вопрос, мне кажется, не в этом. Историки раньше, как мне кажется, все-таки дистанцировались от всего этого, то есть была собственная историческая проблематика и серьезные историк ей занимались несмотря ни на что: читают их, не читают, любит их начальство, не любит. Если ты серьезный историк – идешь в архив и работаешь. Но были, конечно, все эти споры вокруг того, как праздновать юбилей города Перми. Вот это ведь не исторический вопрос, это вопрос, как раз, исторического мифа. Для мифа важно что – рождение. Вот: рождение моторостроительного завода, когда эта дата рождения? Это абсолютно не историческая проблема: какой приказ считать начальной точкой и праздновать как юбилей, какую точку хронологии истории нашего города считать его рождением. Категория «рождение» - это миф. Здесь мы как раз видим принципиальное различие истории как научного знания и исторической мифологии, которую образует, собственно, память. Но вот мне кажется, сейчас мы видим ситуацию, когда историки всерьез вовлеклись вот во всю эту возню вокруг исторической памяти, хотя вообще историки здесь должны стоять в стороне, потому что, извините, память – это феномен культуры, и историки могут идти в архив и заниматься своей работой, не мешая культурологам и социологам делать свою. Но, конечно, историков привлекают к различным проектам, связанным с популяризаци-

ей истории, и, конечно, историки выступают в качестве консультантов во всяких музейных проектах, во всяких вот таких вот проектах, которые, опять же, рассчитаны на широкую публику. Историки здесь постоянно забывают, что история как наука широкой публике доступна, может быть, еще в меньшей степени, чем современная физика. Просто здесь есть иллюзия понятности, доступности: люди часто признаются, что в современной физике ничего не понимают и понять не могут, но сказать, то же самое про историю, люди, как правило, не желают, хотя, на мой взгляд, ситуация точно такая же. Ни один человек, не получивший *соответствующего* образования, *ничего в истории сделать не может*. Когда человек становится историком-профессионалом? После защиты диссертации, обычно, либо перед защитой, ну, в общем, где-то в аспирантуре, после аспирантуры, после пяти-шести-семи лет работы в архивах, библиотеках и т.д. А большинству людей что остается? Вот эта память и остается, им остаются исторические мифы. Но, конечно, проблема-то у нас в чем: историки, получается, продуцируют новые исторические мифы, сами того не желая, или, может быть, желая. Вот этот процесс, на мой взгляд, очень интересен. И у Алейды Ассман, в ее последних работах эта проблема, ставится как одна из важнейших для современной культуры, для современной науки и для современного общества. Есть некая история, во всей сложности, разнообразии и, собственно говоря, как понять обычному человеку что-то там про историю повседневности, не прочитав ни Щюца, ни Бергера с Лукманом, ни, наверное, ничего не прочитав. Мы здесь не затрагиваем вот этих несерьезных ученых, которые просто следуют академической моде. Я тоже хочу привести забавный пример, давеча нашел статью, опубликованную в журнале: «Компьютерная игра «Worldoftanks» как место памяти о Великой Отечественной войне». Ну, понятно, что автор ничего не понимает ни в компьютерных играх, «Worldoftanks» там назван симулятором, но Нора им был все-таки прочитан по диагонали, а Хальвбакс, Ассман – уже не дошел автор, - это мода. Но что делать серьезным ученым, как быть вот в этой ситуации, по-моему, интересный вопрос.

Валентина Железняк (ПГИК):

Вот у вас название темы «Коллективное сознание современников», а здесь просто такое засилье исторического, профессионального сознания. Поскольку я не историк, может быть, поэтому у меня взгляд на это больше со стороны. То, что такое внимание к проблемам памя-

ти в современной исторической науке, я не очень об этом осведомлена. Кое-что читала, но что тема уже себя начинает изживать, не настолько осведомлена, спорить не буду. Но вот что касается состояния памяти, то это не память, а историческая наука в вашем лице говорит, причем вы говорите о серьезной науке, о науке настоящей. Общественное сознание, тут написано, коллективное сознание, вообще само сознание, историческое сознание составляет только его часть, и там, меньше профессионализма, больше профессионализма, безусловно, это связано с тем состоянием общества, которое, в том числе, так или иначе, выходит на тип государственной власти, и что власть заказывает определенные исследования, в 90-е годы были одни исследования, заказанные историкам, сейчас другие исследования, заказанные историкам. Сейчас внимание в общественном сознании к памяти объясняется тем, *что людям с улицы – не профессионалам – хочется представить собственные – народный – образ памяти о с прошлом.* Внимание к *событиям* собственной истории, внимание к прошлому своей страны, – *выполняет компенсаторную функцию.* В обществе стало заметным желание остановиться, посмотреть уже не в будущее, как прежде. Сколько было проектов в прошлом – и все они остались нереализованными. Внимательнее *всмотреться* в прошлое, заглянуть туда, посмотреть и, с точки зрения этих прошедших событий, для оценки современности и возможных путей в будущее. Все-таки Россия, действительно, расстается, или рассталась с традиционным обществом. Но то, что мы окончательно расстаемся с традиционной, это заметно сейчас как раз, в том числе, когда мы изучаем русскую культуру XIX века, советские комсомолки к тургеневским девушкам были гораздо ближе, чем современные некомсомолки. Так что, эта потеря связи с обществом традиционным, которое, собственно говоря, мы не знали, мы знали его только через какие-то культурные достижения и памятники. И даже не боязнь потерять, а понимание, что то общество ушло и *не вернется.* И поэтому актуализироваться эта память может в мифах.

Андрей Бушмаков:

Сразу ответчу, потому что чувствую, что все-таки часть аудитории не читала Алейду Ассман и вот с этой моделью памяти не знакома. Книжка называется «Длинная тень прошлого», - очень простая книжка, написанная почти как учебник. Там Ассман всю современную теория памяти дает в сжатом виде: чем культурная память отличается от социальной памяти, что такое горизонт памяти и т.д. и т.д. Но я гово-

рю о чем? Я занимаюсь мифотворчеством, когда пишу любой популярный текст. *Это не значит, что я лгу, скорее, упрощаю. Суть не в том, я создаю у читателя иллюзию, что он теперь тоже все знает, не меньше моего.* Это большое заблуждение. Я *русской революцией* - не знаю, почему она великая - занимался около года. В архиве почти каждый день читал документы разных фондов, вот скажем фонд Пермского губернского комиссара временного правительства, это порядка 400 дел, что происходило в Пермской губернии с марта по конец 17 года, очень интересный документ. Один продовольственный вопрос, как в разных волостях обсуждали все это, продкомитеты, сам губернский комиссар. Понимаете, пересказать содержание одного фонда невозможно. Чтобы понять, что происходило, ну что я знаю, что происходило в 17 году в Пермской губернии, что вам нужно сделать – повторить мой путь, то есть почитать научную литературу на эту тему, посидеть в архиве года полтора хотя бы, почитать газеты того времени. Тогда вы выйдете на тот уровень. Любая другая проблема, скажем, историк-профессионал, когда начинает чем-то заниматься, ну вот годик-полтора-два, после чего он в тему входит и, соответственно, уже, собственно, научные проблемы какие-то решает. Естественно, обычному человеку, не историку, это абсолютно невозможно. Обычный человек читает, скажем, мою статью. Был совершенно реальный случай, когда я беседовал с интеллигентным очень даже человеком, образованным, журналистом по профессии, историком по образованию, вот этот человек прочитал мою статью в популярном журнале «Ретроспектива», и через некоторое время мы с ним встречаемся, он говорит: «У тебя хорошая статья такая была, я ее прочитал, ты там про это, про это писал, ты такой молодец». Я про это не писал. То есть вот этот человек вычитал в моем тексте что-то свое, у него там наложилось, его сознание создало некие образы, используя мою статью. Так вот историки, когда они пишут популярные тексты, они не должны считать, что все, что они думают, когда пишут, будет адекватно воспринято публикой, которая это все читает.

Мы имеем дело с памятью, память и история – это совершенно разные явления. Память есть у всех людей, память есть у любого общества, ядром памяти по Ассман является миф. Миф здесь – это не ложное знание, это особая реальность, это особая реальность и, в общем, люди, которые знают свое прошлое, они действительно знают – этот миф вполне реальное прошлое. Проблема в чем: причем здесь история, что

делать историкам и нужно что-то делать, как быть? Любой историк, который пытался популяризировать тексты в журналах и прочее выдавать, давать интервью какой-то телекомпании по поводу какой-то там исторической даты, а потом смотреть в телевизоре и говорить, что это такое. Мне кажется, что многие коллеги с этим сталкивались. Историк и память. Мне кажется, это интересная проблема.

Константин Титов (ПНИПУ):

Я бы хотел дополнить выступление коллеги. Дело в том, что выступления историков на этом поприще иногда опасными бывают для историков. Вот позвольте один небольшой кейс, рассказанный в свое время Олег Леонидовичем: один историк выступал перед ветеранами и со всем уважением к ним, сказал, что, к сожалению, наша власть не всегда с почтением относилась к ветеранам, и даже 9 мая с 1948 года по 1965 год не был днем выходным. Я напомним, он выступал перед ветеранами, то есть перед людьми, которые жили в это время. Они его почти побили с криками: это всегда был наш величайший праздник и выходной день, разумеется. Вот в этой истории, по-моему, отразилось все то, о чем сегодня мы говорили: и о вытеснении, и о мифологизации, и о несчастной судьбе профессионального историка, и о власти. Ну что может власть – она может только манипулировать тем, что есть. Кто в выигрышном положении в этой ситуации – наш несчастный историк, который говорит, что 9 мая был рабочим днем, или представитель власти, который без всяких ресурсов говорит что вы, что вы, это героическое прошлое наше. Да тут без всяких ресурсов выигрывает понятно кто. Возвращаясь к тому, с чего Олег Леонидович начал, когда история становится скучной и никому не нужной и некоторые деятели превращают ее в такой аттракцион, это вот меня лично, например, как-то не волнует, потому что это хорошо, оно так было всегда. Олег Леонидович, я думаю, что вы, как многолетний посетитель архивов, не заметили особой разницы в количестве людей в читальных залах. Не заметили? Не заметили. Меня гораздо больше волнует ситуация, в которой вот эти исторические сюжеты, мифологизированные, естественно, становятся, скажем так, актуальными в повестке дня. Это говорит о том, что с обществом не все в порядке, потому что значит: чем больше исторической памяти, которая носит компенсаторный характер, тем больше травм, которые нам надо вытеснить. Поэтому на уроках я, например, наоборот обращаю внимание,

что сейчас среди широких слоев населения исторические сюжеты становятся все более и более востребованы, это меня лично тревожит.

Александр Казанков (ПГИК):

Я тоже хочу рассказать о кейсе, возможно, кто-нибудь его прокомментирует. Многие этот рассказ уже слышали, но некоторые еще не слышали. На самом деле было так: пять лет назад ко мне пришла милая девушка из первого лица, которая хотела написать учебно-исследовательскую работу о своем прадеде. Прадед прошел всю Вторую Мировую войну, от него осталась солдатская книжка, где был настоящий послужной список, но при этом он оставил мемуары. И она принесла замечательные тетради в косую линейку. По тетрадям я увидел, что мемуары писались в 80х годах прошлого 20 века. И вот что в сухом остатке, что я прочитал в книжках солдата. Он был водителем, его призвали на военные сборы в 1939 году и он сразу попал на Халхин-Гол, сражался там, после этого был отправлен в Белоруссию, в Западный военный округ и там его накрыл блицкриг. Как ему удалось вырваться из котлов? Но он был водителем. Значит, ему удалось. Потом он воевал на 1-ом и 2-ом Украинских фронтах и закончил войну там же в Азии, потому что он участвовал в августовской операции в 1945. Он воевал дольше, чем кто бы то ни было. За все время, будучи водителем, он ни разу даже контужен не был, все хорошо. Горизонт, кругозор этого человека понятен. Что он мог написать, что он мог увидеть? Какого же было мое удивление, когда я открыл его мемуары. Мемуары звучали примерно так: преодолевая сопротивление противника, 1 Украинский фронт, взламывая глубоко эшелонированную оборону... Это писал маршал, мемуары писал маршал. Дальше мы сделали с девушкой такую операцию: мы вводили куски из этих мемуаров в поисковую строку и нам выпадал *Конов*, нам выпадал Василевский, нам выпадал Жуков. Короче говоря, когда человек стал писать мемуары, он помнил, он не мог этого забыть, он не мог забыть того, как баранку крутил, как он моторы чинил, как от бомб или мин уклонялся, как в кювет нырял. Но он написал совершенно по-другому. Но обратите внимание, как он это сделал. Он, видимо, ходил в библиотеку и выписывал из мемуаров военачальников все, что как-то хотя бы относилось к его военной судьбе. Вот как бы вы это объяснили? Что здесь что замещает? Где происходит замещение и почему замещение происходит именно таким образом?

Галина Янковская:

Ирина Сандормирская и Козлова, они изучали то, как в 30 годы, совершенно необразованная, прибывшая в город из деревни женщина, работавшая уборщицей, по-моему, осваивала общепринятые нормы и правила социальные – это ее социализация. Для него, от части, мне кажется, то же самое – он осваивает циркулирующие на тот момент в обществе форматы разговора о войне. А то, что происходит, когда нарушаются эти конвенции, мы знаем по реакции фронтового сообщества на книгу Астафьева «Прокляты и убиты», где он, в общем-то, продемонстрировал то, что может действительно помнить человек, воевавший на войне рядовым, водителем, не с генеральского, что называется, *блиндажа*, а с солдатского *окопа*. Мне кажется, это универсальная категория заслонения себя общепринятыми, это некая форма самозащиты.

Александр Казанков:

Но возникает тогда вопрос: а мы вообще к этой первичной социальной памяти можем прорваться и увидеть ее как-то? Или вот дневник рабочего: там замещений нет, там все *аутентично*. Или вот еще пример, а если я напишу мемуары, это будет источником? Или это будет фиктивной памятью, взятой из телевизора и им пользоваться будет нельзя?

Олег Лейбович:

А это исходя из того, что вы напишете. Если вы напишете в то время, как вся система российского образования поднималась на новую высоту, на заседании кафедры были поставлены серьезные вопросы по совершенствованию учебного процесса и дальше цитата из протокола заседания, который вы взяли в архиве, - это будет замечательный источник.

Андрей Бушмаков:

Я к тому, что сказала Галина Александровна, хочу добавить, что здесь, действительно, письменный текст, то есть человек создавал письменный текст, явно претендуя на что? Собственно, он создавал место памяти. Если он работал над письменным текстом, соответственно, по умолчанию подразумевалось, в советской культуре 60-70-80 годов были отработаны определенные модели, скажем, модель воспоминания ветерана, в 65 году эти люди были признаны ветеранами. И начался отбор: те ветераны, которые проходили фильтрацию, встреча-

лись, рассказывали о своем славном фронтовом прошлом пионерам и прочим, тех, кто прошел войну, они к 85 году знали, что, как вспоминать. Я могу привести пример: в 2005 году я работал в государственном архиве Пермского края с Вадимом Григорьевичем Светлаковым, сидел за соседним столом, некоторые знают, наверное, его, естественно, главная тема была какая работы нашего архива – это вот очередной юбилей. Соответственно, с 2004 года мы все работали по этой теме. И в числе прочих проектов был сборник воспоминаний ветеранов. Так вот, Светлаков краснел и ругался ну просто очень громко потому, что очередной ветеран, приходящий к нему, приносил очередной вот такой текст. Действительно, эти тексты очень клишированы, начинается «Я был призван такого-то числа, попал в такую-то стрелковую дивизию, боевой путь этой стрелковой дивизии начался там-то...». Дальше страница вот этого абсолютно стандартного текста. Дальше: «И тут меня ранило. После выздоровления я снова вернулся в строй в составе нашей...», и еще страничка этого клишированного текста. Вот так они и писали. И сколько Светлаков на них не ругался, дело было в 2005 году, уже 10 лет прошло. Получается, 15 лет, как так не обязательно было писать, но они освоили эту модель, люди уже были сильно пожилые, а новую модель осваивать у них, видимо, не получилось. Подавляющее большинство писало именно так. Но когда они начинали рассказывать, они, естественно, начинали уже говорить по-человечески. Я помню, одна дама, в течение часа, рассказывала, около часа, рассказывала о том, что и как она приобрела в 45 году в Австрии, какие были туфли, какая была шубка, какой был воротник, маме она купила вот это, а туфли были чудесные, потому что она носила их потом 15 лет. Вот про одни только туфли она, наверное, только минут 5 рассказывала. Вот был чудесный нарратив. Но что она написала? Она написала три странички про славный боевой путь для этого сборника документов. То есть, это вот как раз здесь речь идет о культуре памяти, которая на стыке социальной памяти возникает и на стыке вот этой самой политике памяти. Политика памяти осуществляется, в том числе, через специальные институции. Здесь речь идет, скорее, не о цензуре, а как раз соответствии социальным ожиданиям: если человека приглашают в качестве ветерана рассказать школьникам, пионерам тогда, о своем славном боевом прошлом, если он начнет им рассказывать ..., то в следующий раз его приглашать не будут, чаем поить не

будут, фотографировать с пионерами не будут, и вот тот набор приятных...

Олег Лейбович:

В советской культуре текст, записанный текст, текст проговоренный обладал очень разными статусами. Вообще-то, говорить было можно, если, конечно, не на митинге и не на торжественном собрании. А вот уж писать надо было по правилам. Есть же хорошая главка в книжке Коткина «Говорить по-большевистски». Ну, там-то говорить, а на самом деле, конечно же, писать. И чем меньше у начальства было образования, тем оно строже воспринимало этот канон, точнее, ему следовало. Ну, чтобы не оступиться, не сболтнуть лишнего.

Гульсина Селянинова (ПНИПУ):

Прошу прощения, меня тоже очень заинтересовало то, о чем говорил Александр Викторович. Действительно, каким образом нужно сделать прорыв к реальной памяти людей? Интересно было то, что говорили о каких-то рассказчиках, приходивших в школы в 60-70 годы, я как раз тогда училась в школе, и это была такая героизированная война. Но в 75 году я приняла участие в одном проекте: к 30-летию победы мы пошли к ветеранам, причем не к тем, которые приходили к нам в школу, а просто мы пошли по домам, и стали искать этих ветеранов, задавая вопросы о той войне, то есть о реальной войне, которую они пережили. И мы нашли такого ветерана, который нам рассказывал о хаосе отступления, о хаосе пленения. Я была в шоке. И в 2005 году создала, вот именно для того, чтобы найти эту реальную память «Центр устной истории». 10 лет мы записывали действительно реальные воспоминания людей. Можно говорить, конечно, о дискурсе власти, о том, какие есть парадигмы у историков и взгляды на прошлое, но если люди имеют какой-то опыт прошлого, и этот опыт они хотят зафиксировать не в мемуарах, в соответствии с какими-то определенными правилами, а рассказать о том, что было реально, то они рассказывают о том, что пережили сами, и это, прежде всего, устные рассказы. Устная история дает возможность зафиксировать вот такую реальную память людей, потому что человек никогда не придумает, что он пережил реально, каким образом те или иные события исторические отразились в его жизни. Хотя, в те рассказы, которые мы записали, конечно, какие-то мифы попадают, мифы о прошлом, мифы, созданные властью. Но вот тот опыт, который пережит, он никогда не может

быть придуман, о том, как люди выживали, как они пережили войну, как они работали, какие трудности вынесли на своих плечах. Это вот реальность. Возможно, этого нет в мемуарах, но в устных источниках, если правильно составлены опросники, потому что, если вопросы составлены определенным образом, то рассказ будет варьироваться. Здесь, конечно, тоже еще можно отметить, что очень важно кто задает эти вопросы, интервьюер: вызывает он доверие, не вызывает доверие, хочется ему рассказать или не хочется рассказать и т.д. То есть здесь еще много субъективных моментов, но это реальный опыт.

Алина Мельникова (ПГИК):

Тожe хочется вот здесь сделать небольшое замечание. Важно ведь понимать, что даже при устной беседе с человеком, он анализирует свой прошлый опыт, исходя из того, какая складывается ценностно-нормативная иерархия в его сознании. Ведь, прожив что-то, мы начинаем это анализировать, и начинаем думать: а вот что я сделал правильно, а что я сделал хорошо, а что можно приукрасить, а что лучше вообще не рассказывать. Поэтому, здесь тоже могут быть вот такие вот белые пятна в воспоминаниях людей. И говорить о том, что картина более объективна на сто процентов здесь нельзя.

Александр Казанков:

У нас обнаружилась одна проблема, которую можно сформулировать так. Во всякую эпоху существует определенный канон, канон говорения, воспоминания, так, в советское время он был вот таким, он определялся идеологией, и каждый ветеран точно знал, что ему рассказывать про войну. Вопрос заключается вот в чем: существует ли такие, кто сейчас заведует этим каноном, но то, что их формирует не профессиональное историческое сообщество? Может, после перерыва мы вернемся к этим сюжетам? Может быть, прав Андрей Николаевич, и все дело в заказчике: расскажи мне такую историю. Но тогда кто-то должен рассказать эту историю, рассказать красиво, убедительно, образно и ярко, потому что миф всегда должен быть образным, ярким, завораживающим, влекущим. Ну тогда заказчик, мифотворец, потребитель мифологии – треугольник памяти, памяти как дело публичной политики.

Олег Лейбович:

Коллеги, известно, кто создает эталоны. Писатель. Художник. Евгений Викторович Тарле был великим ученым. Но войну 12 года все

равно будут знать по Льву Толстому, который ее, в общем, сочинил, выдумал и уж придумал. А история 1917 года *читающей публикой будет воспринята*, скорее всего, по Леониду Юзефовичу. По его рассказу про генерала Пепеляева, после которого *генерал* станет, естественно, самым главным героем и в честь его улицу переименуют, обязательно, несмотря на сопротивление «Сути времени», вернее, благодаря сопротивлению «Сути времени». Литература создает вообще-то эталон рассказов. Вот те ветераны, которые писали воспоминания по Жукову, они прошли мимо Бакланова, Бондарева, они пошли мимо лейтенантской прозы, мимо Кондратьева, даже мимо Симонова прошли. Но были и другие, которые не прошли, и которые имели перед собой другие образцы для повествования. Я думаю, если эта ситуация сейчас и изменилась, то место книжки может занять фильм, как множество картинок, которые тоже подлежат пересказыванию. Известная конструкция, когда я кино смотрю и примерную схемку понимаю, как про это надо другим сообщать, и потом уже словами в общем, перевожу видеоряд в звуковой ряд. Но я думаю, мы об этом после 15-минутного перерыва поговорим.

Олег Лейбович:

Была поставлена проблема Александром Игоревичем об образцах и эталонах живой устной памяти. Здесь действительно сложно, не правда ли? Потому что, вообще-то, мы вспоминаем, сразу же соглашусь с нашими исследователями устной истории, что когда мы что-то вспоминаем, мы вспоминаем личное, мы вспоминаем пережитое, мы вспоминаем то, что оставило какой-то след. Если бы след не оставило, то, скорее всего, мы бы и не вспоминали. Но одновременно мы вспоминаем то, что было не с нами. Теми словами, которые плохо предназначены для передачи именно наших впечатлений и наших эмоций, наших образов, создается некий, не знаю, слово синтез мне сильно не нравится, некий такой нарративный агрегат, где самые разные элементы соединены друг с другом, иногда чисто механически. Тогда это понятно. Иногда слитно. И тогда уже тот, кто слушает, может что-то и вспоминать, но мы должны помнить некоторые элементы, не знаю, социальной психологии. Вытеснение. То есть речь идет не о метафоре вытеснения истории памяти, а речь идет о просто психологическом вытеснении, когда человек не желает, не хочет помнить страшное, не хочет помнить гадкое, не хочет помнить мерзкое, не хочет помнить ту

ситуацию, где он был, *скажем, не на высоте*. Он знает, что он был низок. Поэтому лакуны здесь просто-напросто обязательны.

Тем не менее, давайте, все-таки, посмотрим на образцы. То есть на идею. Скорее всего, это кино или книжки, но это только для обсуждения. Вполне возможно, что образцы задаются как-то иначе.

Анна Кимерлинг:

Олег Леонидович как-то резко перешел на образцы. Мне как раз показалась предыдущая тема важной, тема, связанная с травмой. Как раз что человек замещает, а иногда он замещает не то, что для него стыдно, а то, что, скажем так, несправедливо, несправедливость, которая по отношению к нему имела место. Вот мне хочется вспомнить как раз те интервью, которые брал «Мемориал» у людей, которые пережили лагеря. И вот когда они рассказывают о том, что их арестовали, о причинах этих арестов, безусловно, мы можем точно сказать, что все аресты были *необоснованными*. Но они начинают искать логику в этом в этом, *какую-то справедливость*. Вот, например, одна дама рассказывает, что у них был кружок студенческий, они разговаривали друг с другом. И вот она говорит: «Еще чуть-чуть и мы бы точно стали антисоветчиками». Поэтому, в общем-то, получается, что их арестовали справедливо. Ничего не было, антисоветского в том, что они говорили. Но она говорит: «Еще чуть-чуть...» И в результате, получается, начинает оправдывать в своих воспоминаниях те долгие годы лагерей, то есть ту часть жизни, которую она потеряла – нужно найти ей какое-то оправдание. Была же причина: «Мы бы стали антисоветчиками». И это прослеживается в большинстве интервью. Поскольку власть нельзя осудить, они пытаются ее оправдать.

Олег Лейбович:

Были же стихи Евтушенко 1970-го года, опубликованные в журнале «Новый мир»: «В стране, где террор – государственный быт, / Невинно растоптанным быть не достоинство. / Уж лучше за дело растоптанным быть...» Ну, и так далее. Естественно там про Александра Ульянова. Умеющие читать, понимали, при чем здесь Ульянов и кто у нас теперь за Александра III.

Константин Титов:

А по поводу стандартов, как вы отнесетесь к идее того, что стандарты нам задаются в детском саду? Нашими же ребяташками, с которыми мы в одной песочнице играем. Они же делятся с нами своими воспоминаниями. Как правило, героическими: как он всех победил.

Михаил Красноборов (ПГГПУ):

Если верить Эриксону, то все наши представления формируются до двадцати лет. То есть на пятой стадии социализации, если я не ошибаюсь. То есть, я бы здесь сказал, если возвращаться к теме о

травмах, то есть несколько моделей переживания этих травм. Первой моделью можно считать забвение. Забыть про нее, умалчивать. То, что было в Советском Союзе, гдево многих в семьях, где были репрессированные, до 80-ых годов эта тема была табуирована, к ней не возвращались. Другая модель – это конформизм. То есть включить в свою историю, историю своей семьи, свое прошлое в ту модель, которая сейчас существует в государстве официально. Еще одна модель может быть фрондёрской. То есть, например, включить или искать те модели прошлого, и стремиться к тем моделям прошлого, которые сейчас неактуальны. Ну, например, как советская интеллигенция, могу ошибаться, искала дворянские корни и использовала для собственной идентификации.

Если не использовать ни одну из этих моделей, может произойти кризис идентичности, который выльется в итоге, на мой взгляд, в такой, достаточно серьезный, кризис внутриличностный. Это вот на мой взгляд.

Олег Лейбович:

А какой вы видите выход из кризиса?

Михаил Красноборов:

Выход из кризиса? Либо принять эту травму, либо ее не принимать совсем. Но это чревато. Могу привести пример. Олег Владиславович Лысенко мне этот пример подарил для статей. В канун семидесятилетия Победы в прошлом году на «Скорбящей матери» человек нарисовал две свастики и оставил надпись «Дураки без мозгов или придурки с мозгами». Когда его задержали, как он объяснял эту ситуацию: что один его дед воевал в Красной Армии, а второй дед жил в Прибалтике. И под давлением той модели, той политики памяти, которая ведется сейчас, если бы Великая Отечественная была сегодня, он не знает, на какой стороне он бы оказался. Нарисовал, был задержан. Не знаю, посадили-не посадили, но экстремистская деятельность самая настоящая.

Анастасия Кучева (ПНИПУ):

К вопросу о травме и продолжая предыдущего докладчика, и продолжая то, о чем говорила Анна Семеновна: почему, каким образом женщина себя повела. Почему она именно таким образом рассказывала о своем прошлом.

Когда мы пытаемся каким-то образом объяснить те или иные события, по крайней мере, здесь, говоря в области памяти, мы используем часто психологические категории. Сейчас очень популярны междисциплинарные исследования. Может быть, даже, они необходимы. Если мы говорим о психологии, то вообще вся, понятие травмы – это зависит у нас из медицины. Как в обыденном понимании мы используем термин «травма»? Это просто какая-то рана. Из психологии, с XIX века, психологическая травма – это то, что возникает под каким-то стрессовым негативным воздействием на психику человека. А из психологии этот термин перешел в социологию, культурологию и сейчас в историю.

Здесь уже часто говорили о выходе из травмы. Каким образом можно выйти из травмы? Вот молодой человек приводил несколько выходов. На самом деле прописаны они: это и Мертон, и Гидденс. Можно к социологам обратиться. Это социологи, работающие в рамках современного направления «культурсоциология»: Смелзер, Штомпка, Александер. Алейда Ассман говорит о том, что все травматические воспоминания, как индивидуальные, так и на уровне коллективном, очень часто вытесняются. Они уходят в латентную фазу, в некоторую такую инкапсулированную зону. И там они находятся, это можно говорить и про человека, и про коллектив, и там они находятся в этой латентной стадии какое-то время. Какое время – здесь просчитать невозможно, потому что под воздействием различных внешних обстоятельств этот период когда-то заканчивается, и эта травма приводит к некоему взрыву, к выходу. Ассман проводит анализ воспоминаний о Холокосте и то, каким образом проблема Холокоста и всего, что происходило в Европе во второй половине XX века, стало очевидным и когда это стало популярным и открыто для массового исследования.

Здесь же можно сказать о том, что этот латентный период – он очень опасен. И его надо каким-то образом, что ли, преодолевать. Для того, чтобы взрыва, все-таки, не произошло. Произошел очень плавный выход из травмирующей ситуации.

Если мы говорим о коллективных травмах, то здесь есть выход, по крайней мере, предлагается выход. Вот это забывание, эту зону памяти преодолевать созданием особых мемориальных мест. Места памяти, где люди будут, может быть, узнавать новое, может быть, приносить покаяние и, безусловно, это очень востребовано, наверно, будет в

нашей стране, где огромное количество вопросов, многие докладчики к этому обращались: о том, что многие вопросы были просто отодвинуты в зону антипамяти. Это, конечно, и репрессии, это и война, все, наверно, войны, которые были в нашей истории. Потому что их опыт, негативный опыт, до конца не проработан.

Почему очень важно выходить из этой травмирующей ситуации? Поскольку, опять-таки и психологи, и социологи пишут: вот этот негативный опыт непроработанный он передается от поколения к поколению. И мы с вами, соответственно, тоже несем на себе печать вот этих психотравмирующих расстройств, неврозов постоянных. И общество в целом. И, наверно, общество надо каким-то образом лечить, преодолевать все эти травмы. Методы, способы какие-то предлагаются исследователями, а какие-то, наверно, надо нам с вами найти, как научному сообществу. Спасибо

Матвей Писманник (ПГИК):

А может ли власть и политические средства способствовать такому толерантному преодолению травм? Травм, имеющих, конечно, такой широкий, даже исторический характер. Скажите, пожалуйста, как вам смотрится, в современной глобальной ситуации, то, что сделал *Вилли Брандт*, прося извинения у польской, а затем и еврейской общественности за то, что *сделали нацисты, за геноцид*? Я очень сложный задал вопрос, но как психологу это смотрится? То, что в индивидуальной психологии, в коллективной психологии, какие на ваш взгляд есть возможные потенции? Это очень трудно.

Анастасия Кучева:

Мне кажется, что это вопрос будет не только ко мне лично, а касается всех присутствующих. Все-таки я не психолог, я больше историк. Точнее, я историк по образованию. По поводу вопроса о том, что политика, власть и какие-то структуры государственной власти могут способствовать преодолению каких-то травмирующих ситуаций, то это, опять-таки, отсылка к тем проблемам, о которых уже сегодня говорили. О том, что существуют понятия политики и истории, и о влиянии власти и политики, и вообще заинтересована ли власть в преодолении таких вот лакун, которые сейчас у нас присутствуют. Как показывает практика нашей истории, пока, к сожалению, власть не очень заинтересована. У нас, все-таки, концепция героизированной истории

доминирует, и *вряд ли были какие-то серьезные попытки ее преодолеть, в прошлом, в настоящем и в ближайшем будущем*

Галина Янковская:

Коллеги, можно я вторгнусь в дискуссии примером коррекции травмы. Если мы себе представляем какую-то технологию, которая может человеку, пережившему опыт катастрофического унижения, катастрофического распада личности в разных обстоятельствах, например, в нацистском лагере, залечить эту травму. Если тебя, отца еврейского семейства, заставляли бородой мыть «толчок» - я не знаю, что поможет преодолеть травму. С точки зрения власти.

Но есть разные способы перевести эту травмирующую память в иное состояние. Ожидание, что можно все травмы излечить, мне кажется иллюзией. И человек без травмы – это как взрослый человек без морщин. Это не человек, это какое-то искусственное существо. «Не лишайте нас наших травм!» - хочется иногда сказать.

Так вот, это опыт, например, художественного проекта Александра Галицкого. Это художник, который переехал в Израиль. Мы понимаем, что там огромная диаспора людей, переживших шoa. И у него есть проект под названием «Деревенеющие». Предлагаю, любому это доступно, зайти в «Google», посмотреть, что он делает. Он работает с людьми, которые живут в домах престарелых. При уровне израильской медицины, это значит с людьми в возрасте 80-90 лет. Как правило, это узники концлагерей, многие пережили советские лагеря. И он с ними не «сюсюкает», не создает никакие места памяти, он им придумывает, как бы, творческое занятие. Они режут по дереву. При этом, одновременно, пока он учит их этими старческими пальчиками резать липу, например, они ему рассказывают свою жизнь. Рассказывают, проговаривают пережитое. При этом он позволяет себе очень легкий и где-то даже шокирующий стиль общения с ними. Ну, типа «Сообщество вставленных челюстей», еще что-то такое. Он переводит в фазу юмора, в фазу каких-то совместных, коллективных разговоров, творчества. И тем самым он не претендует на залечивание травмы, он придает иной смысл сегодняшней жизни. Потому что иначе ради чего вы выжили?

Матвей Писманник:

То есть это индивидуальная терапия?

Галина Янковская:

Скорее коллективная, потому что в таком возрасте, одиночество – это то, что имманентно присуще жизни. А вот коллективность и творчество – это то, что является дефицитом. Он восполняет этот дефицит.

Анастасия Кучева:

Возможно, я неправильно выразилась. Дело не в том, чтобы все травмы залечить, а дело в том, чтобы их каким-то образом проговорить. Потому что как раз-таки терапия и заключается в том, чтобы травмы проговоренные, они не остаются уже таким негативным грузом. То есть они, да, являются частью жизненного опыта и, безусловно, у травм никаким образом не избежать. Но с ними уже продолжается другая жизнь.

Олег Лейбович:

Вот я процитирую Ницше, который как-то раз заметил, что «если эту боль невозможно вынести, то ее надо эстетизировать». Так вот, самый древний способ изживания военных травм – это героизация войны. Самый древний способ изживания лагерных травм – это героизация сопротивления. Когда человек, это, кстати сказать, сочинено для него и за него, а иногда и вместе с ним, сочиняет историю, в которой он выглядит победителем, он выглядит борцом, и тогда с памятью о войне происходит аберрация. Помните: День победы в эпоху Брежнева - это «праздник со слезами на глазах»? Так его воспринимало поколение детей участников войны – тридцатилетних и сорокалетних мужчин и женщин. Сегодняшний образ войны – это образ войны без травм. Вот тот самый механизм трансляции травмы поколения поколению сегодня пытаются просто-напросто заместить или поломать этот самый механизм, заменив его другим. Естественно, оборотная сторона этого чудесного механизма известна: война становится захватывающим приключением, охотой на хищников, рискованной, но все-таки не опасной для жизни. Пиши на машинке «За немками» или «На Берлин!» и забудь о человеческом горе.

Нет совсем шадящих технологий изживания травмы. И далеко не все травмы можно и нужно изживать.

Давайте вернемся к тому, что лично мне более интересно. Итак, у неоднократно помянутой здесь Алейды Ассман есть тезис о том, что история враждебна памяти. Вот причина этой враждебности понятна. Кто-нибудь видел хоть раз в жизни словарь Вебстера по истории? Это книжка вот такой вот толщины. Там только факты. Там никаких комментариев и интерпретаций. Я, когда это вижу, – я столбенею. Я понимаю, что ни один обыватель, при всем желании, не сможет даже десятой части этой истории понять. А он, тем не менее, нуждается в целостном

видении истории. Это, как много раз здесь произносилось, это элемент его идентификации. Мы должны понимать, как профессионалы, что, если мы будем говорить: «Вот это и есть история», - он тоже остолбенеет. Надо как-то к нему гуманно, да?

Итак, как сделать историю не враждебной памяти? Чтобы она была восприимчива. Чтобы она была представима. Красивой, в соответствии с современными эстетическими принципами, или условностями.

Андрей Бушмаков:

Один тезис, с которым большинство, видимо, молчаливо согласилось, что память – это ключевой элемент идентичности. Извините, это Германия. Причем и то не факт. Из всех развитых современных стран можно найти, ну, пожалуй, только Германию, в которой действительно проблема памяти связывается с основами современного общества. Но я могу сказать что? Вот два примера. На самом деле у меня есть небольшой опыт посещения Германии и мест памяти и работы с людьми с этими. И у меня есть студентка, которая дважды ездила с нами в Германию, а сейчас уже год живет там, в городе Гамбург. И когда я с ней недавно беседовал, она сказала что? Что ее первоначальные установки после года в Гамбурге сильно поменялись. Она выяснила, что в Гамбурге есть множество людей, которые никакую травму не переживают. Они благополучно сдали этот экзамен по истории когда-то давно в школе, получили свою оценку, и все забыли. То есть вот, реально страна, в которой молодое поколение, видимо, все-таки уже больше интересуется футболом, чем Холокостом. С футболом все хорошо, все хорошо у них с экономикой, вообще все хорошо, хорошо и с образованием. Но вот, вы знаете, в 70-ые еще у них было плохо с политикой, и в 80-ые они как раз обсуждали: «Да, у нас все хорошо с экономикой, уже все хорошо с политической системой, но мы ведь внуки нацистов. Мы же еще эту проблему не решили». Они решили эту проблему. Они говорят: «Да, мы внуки нацистов. Но мы самое гуманное общество в мире, потому что мы эту проблему решили. И вот я так понимаю, что сейчас у них есть возможность сосредоточиться на футболе, здравоохранении, образовании и других вещах. Идентичность и память могут быть связаны, но необязательно. Если мы возьмем Америку. Какую роль там играет память о прошлом в конструировании идентичности большинства нормальных американцев? Я думаю, что там совсем маленькую. Мы просто живем в очень проблемной стране, в которой поиск ответов, связанных с настоящим, очень

часто интеллигентных людей приводит к прошлому и, соответственно, здесь немецкий опыт оказывается как бы востребован. Ну, все-таки Россия и Германия – это совершенно разные ситуации, совершенно разные проблемы. По-моему, все-таки идентичность и память – разнородные явления. Нет, конечно, у Ассман память выступает ядром вот этой общей идентичности. Но так это у Ассман. Даже в Германии с Ассман далеко не все согласятся.

Галина Янковская:

Послушайте, конечно, российско-германский диалог в культуре, в истории – это важная вещь, но это не две страны в мире. И Соединенные Штаты – это не самый корректный пример. Давайте посмотрим на Великобританию. Страна, которая просто погружена и живет прошлым, памятью, историей, где люди рубятся по поводу того, кто они, «скотты» или «уэллиши». Где вам в любой деревне расскажут не только про каждый дом, но и про ориентацию по частям света. Если вы войдете во Францию – какая там колоссальная память. В Италии. Ну, то есть, мне кажется, не стоит ограничиваться одним опытом.

Олег Лейбович:

Присоединюсь к идее о том, что когда общество испытывает интерес к истории, значит общество тяжело больно. Это один из показателей того, что сегодняшний день для них рутинен, скучен, не опрятен. А завтрашнего дня нет вовсе. Вот тогда общество действительно интересуется историей и находит свою идентичность в славных деяниях своих предков. Тут профессиональный историк – плохой помощник. Обязательно какую-нибудь гадость скажет. В стиле *И.Н. Данилевского*: Александр Невский, конечно, был, но не такой хороший, как в фильме. И вот узнав, что он не такой, как в фильме, естественно, нормальный человек выкинет книжку Данилевского, скажет «Мы всякое очернительство уже проходили». Это, кстати говоря, четкий совершенно показатель для всей истории всех стран. Французы чуть ли не сожгли американскую книжку, где было рассказано: «Ребята, не надо нам все время про «резистанс» рассказывать. Лучше расскажите про миллионы коллаборационистов». Вот этот американец написал про коллаборационистов...

Галина Янковская:

А если вернуться к тому сюжету, который был задан. Каким образом включаться экспертному сообществу в коллективную самодея-

тельную работу над исторической памятью. Потому что я верю в культуру участия сегодня в интерактивном обществе.

Олег Лейбович:

И правильно сделаем. Потому что существуют культурные и профессиональные теперь компетенции в обществе. И отменять профессиональную дифференциацию в угоду всеобщего демократизма, наивных демократических ценностей XIX столетия – это значит ликвидировать науку, это значит ликвидировать знание, это значит приближаться к уровню, простите, к нашим краеведам, которые на любительском уровне давным-давно решают важную задачу, где похоронен великий князь Михаил Александрович: в квадрате А или в квадрате Б. Они решают эту задачу тридцать лет и будут еще решать ее лет триста. И на самом деле, им это интересно и вообще многим интересно. Но историк в этом споре принимать участие не может, потому что здесь на самом деле нет исторической проблематики, нет исторических сюжетов-

КОНСТРУИРУЯ ПРОШЛОЕ

круглый стол

Андрей Бушмаков:

Предметом обсуждения у нас будет, собственно говоря, способы конструирования прошлого. И здесь мы должны рассмотреть институты памяти, места памяти, то есть те средства, при помощи которых создается та память, которая называется культурной. Культурная память, напомню, согласно ее теории, это действие социальной памяти, то есть памяти, которая передается живыми носителями оно, сравнительно, недолгое, это три поколения. Соответственно, затем наступает действие уже вот этих специальных технологий, которые, собственно говоря, культурную память делают способной существовать в течение многих и многих поколений. Первыми у нас в программе стоят институты памяти. Соответственно, помним, что институт – это устойчивая форма социального взаимодействия, предполагающая определенные роли, определенные правила для каждой из этих ролей. Пожалуйста, прошу высказываться.

Александр Чашухин:

В нынешнее время формируется совершенно различные ритуалы, связанные с войной с какими-то иными событиями, «Бессмертный полк», например. Причем, обратите внимание, какая жаркая дискуссия возникает по поводу того, что собой представляет «Бессмертный полк», нужен он, не нужен, истинный он или присваивает себе государство. Возникают совершенно новые такие места памяти: кто-то осваивает сквер декабристов около тюрьмы, произнося имена репрессированных и конструируя снова память; кто-то, в данном случае, как мы, собираются обсуждать это. То есть, мне кажется, мы можем попытаться понять, как формируются эти институты, кем формируются институты, не знаю, может быть, кто заказчик.

Александр Казанков:

Есть известная фраза, звучит она так: «Миллионы школьных учебников не могут врать». Значит все, что написано в школьном учебнике, изданном миллионным тиражом с грифом, то - есть правда. Предлагаю обсудить это. А также наше участие в этом процессе.

Михаил Красноборов:

Недавно проводились исследования именно по источникам формирования памяти. Получается, что больше 60% получают представление о прошлом как раз таки на уроке в школе, либо из учебников. Но только треть из этих 60% этим учебникам и этим урокам доверяют. На втором месте получается, у меня, в принципе, есть цифры, могу вывести на экран, или не стоит? Наиболее правдивым источником для респондентов были исторические передачи по телевизору и рассказы старшего поколения. И это точно так же варьирует с источниками базы. То есть получается, что на втором месте рассказы о прошлом старшего поколения, исторические передачи и советские художественные фильмы. Они набрали под треть голосов из всего списка. Вообще, в списке было представлено: уроки в школе, лекции в ВУЗе, советские художественные фильмы, новые художественные фильмы, исторические романы, передачи по телевизору, публикации, книги профессиональных историков, которые никто, видимо, не читает, рассказы людей старшего поколения, интернет-справочники, публикации.

Анастасия Кучева:

Почему именно, в принципе, история? То есть, источники собирают эти данные о чем, то есть история чего? То есть здесь, в принципе история, общенациональная, только Россия?

Красноборов Михаил:

Да, так и получается. То есть знания получают из учебника истории, 60%, треть не доверяет им, точнее треть доверяет, остальная часть не доверяет, а доверяет почти 90%, не 90, прошу прощения, почти половина историческим фильмам.

Андрей Бушмаков:

Недавно у меня дипломница защитила на эту тему свою работу, тоже изучала она историческую память у студентов. Правда, методы исследования были не количественные, а поскольку мы полагали, что культуру количественными методами социологии не изучают. И память ведь, это вещь какая? Это ведь не просто образы прошлого, согласно Ассман, это аффективно переживаемое прошлое, то есть здесь должно быть эмоциональное переживание. Как отличить просто узнавание каких-то персонажей и факто и прочих от их переживания эмоционального? При помощи количественных методов, при помощи опроса сделать это не представляется возможным. И если мы хотим связать наше исследование с тем вариантом памяти, который дает возможность обойти личности и говорить о прочих вещах, количественные методы нам тут мало чем помогут. Вот поэтому, все-таки, метод фокус-группы, метод интервью, на мой взгляд, был бы продуктивнее. Но говоря о ее исследовании, там вот как раз любопытная вещь выяснилась. Студенты в общем про историю кое-что знают, но это, действительно, фрагментарное представление. Здесь есть немножко от науки, чуть-чуть совсем, действительно, кинофильмы преобладают, которые показывают, персонажи разные преобладают. Ну и вот, у нее еще ощущалась связь с семейной, с социальной памятью. Но там набор банальностей, с одной стороны, вылез: главная тема – это война, главное событие прошлого – это вторая мировая война. Но, в целом, достаточно любопытные результаты, на мой взгляд. Если мы сравним то, что получилось по этому маленькому исследованию с тем, что описывает Ассман, то увидим гигантскую разницу, потому что этого цельного образа прошлого здесь мы не найдем.

Красноборов Михаил:

Да, количественные методы использовались, как раз для поиска тех источников, наиболее популярных источников, для того, чтобы в ходе интервью, в ходе фокус-групп обращаться именно к ним. Так, наше исследование, в принципе, построено на качественном исследова-

нии: на интервью и фокус-группах. Ну вот, в принципе, цифры очень интересные даже получаются. Если посмотреть на общий срез, то есть откуда больше всего узнают об истории нашей страны, то получается, каркасом является все-таки урок в школе, да? Но вот недоверие и не самое высокое доверие к уроку в школе толкает нас на то, что мы не можем говорить о том, что школа как институт является каркасом исторических знаний в принципе. Мне кажется, так. Может быть, я ошибаюсь на данный момент и очень резко делаю выводы.

Андрей Кабацков:

Коллеги, вот давайте не будем повторять азы школьной социологии, и если написано: «урок в школе – доверяем», то мы сразу даем этой записи статус такого конечного знания. Давайте посмотрим на группы институтов, которые, собственно говоря, закодированы здесь. Образовательные институты построены так, что учащийся не имеет право подвергать сомнению получаемые знания. Затем мы видим институты досуговые: фильмы, книжки. Затем мы видим специализированные институты - знание профессиональных историков, книги профессиональных историков, замкнутое сообщество, откуда информация вообще-то не может выходить на публику без специального перевода. И мы видим вот такой перевод в телестудиях, или иллюстрированных журналах, или в постах в фейсбуке. То есть, две основные институции – школьная и досуговая (телевизионная, медийная группа) – они показывают свою эффективность. Остальные – гораздо меньшую эффективность, на мой взгляд. То есть об этом говорит доверие.

То есть у нас здесь традиции остаются в школе, советские художественные исторические фильмы, исторические передачи по телевизору, рассказы людей старшего поколения – устная традиция, интернет, ну и интернет, которому доверяют. Собственно, нам это ничего не объясняет. Мы видим, что все эти предшествующие формы передачи знаний представлены, там уже есть выбор, что-то кто-то чего-то предпочитает, со вкусами связано.

Андрей Бушмаков:

Ну, вот в теории одно дело получить информацию и потом ее озвучить, в принципе, наши студенты это делают, то есть информация о прошлом у них есть. Мы можем их критиковать, что их информация о прошлом не соответствует научным взглядам, даже столетней давности, не говоря уже о современных, но они образы прошлого имеют. Вопрос в

том, насколько: а) они это прошлое аффективно переживают и б) насколько эти образы у всех у этих разных людей более-менее общие? Если на первый и второй вопрос мы отвечаем отрицательно, никакой идентичности на основе общего прошлого, говорить мы, в общем, не вправе. Поэтому, значит, все-таки, наверное, достаточно любопытно вот эту тему продолжать рассматривать на отечественном материале. Но здесь, наверное, все-таки нужны дальнейшие исследования, какие-то такие более репрезентативные.

Андрей Кабацков:

Качественные. Вот, на самом деле, здесь количественные не работают, потому что в количественном мы, собственно говоря, всегда увидим картину, что-то есть, что-то на 10 % отличается. Но когда такую тему затрагиваем, на эти 10 % можно не обращать внимания.

Ксения Подьякова (НИУ ВШЭ):

Я бы привела пример, как конструируется прошлое разными группами людей. На самом деле, проводилось исследование по интервью, как раз качественное, и вопросы касались быта. Нас интересовала память о быте, пермских жителей, и там всплыли такие клише, я б назвала это мифами, все-таки было, все жили одинаково, и про фильмы, что там все-таки показывали правду, и ничего не было еще выдуманно. И при детальном выяснении обстоятельств, как раз связанных с какими-то коннотациями дополнительными, было выяснено, что, допустим, все жили одинаково, это клише конструируется конкретной группой людей: есть лично советский человек и люди, которые относят себя к этой группе, допустим, люди из приличных советских семей, они конструируют прошлое, как то, что все жили одинаково, но при этом, параллельно, перечисляют вполне реальную социальную дифференциацию, какую-то структуру групп, которые существовали в 80-е годы. Ну, по 80-м работали. И, соответственно, получается, что они говорят о стратификации, нормально выделяют богатых, победнее, бедных, чаще всего, не видят, а себя относят к более бедным и при этом они, получается, конструируют воспоминания одинаково по своей собственной группе, то есть они говорят не об истории в целом, а конкретно о своей группе. И поэтому, когда выведены такие списки, допустим, откуда берется информация, люди то ее берут, но каждая группа конструирует свою собственную какую-то историю, и это оче-

видно, что сложно по таким выдачам для всех какую-то идентичность сделать.

Мария Чудинова (ПГИК):

Я тоже проводила исследование на основе интервью, качественных интервью, брала интервью у людей советского поколения, которые родились примерно в 50-60-е годы. И очень интересно именно то, что у них не было особого печального опыта в их жизни, они не были политически репрессированы и т.д., но вот у них у всех присутствовало общее место – это коллективная травма распада Советского Союза. О том времени они все обычно говорят, что это было время благоденствия, добра, веселья, когда все люди были благожелательными и открытыми, все делали вместе. Но когда начинаешь их спрашивать о каких-то подробностях быта, то выясняется, например, что кто-то несколько зим подряд носил осеннее пальто, потому что не мог себе позволить нормальное зимнее, ел на обед коржики. Но это принято называть «смешанными чувствами», о которых как раз еще Богданов писал и другие.

Александр Чашухин:

Коль тут пошла речь о своих исследованиях, приведу типичный пример: интервью с учителями, сквозь призму которых видна такая вот своеобразная проекция профессиональной группы. Человек описывает, как жил в бараках, по коммуналкам разъезжал, родители учеников – ужасные люди, кругом пьянство и тараканы. Позже родители становятся чудесными (когда оказываются рабочими на заводе), а вот дома они у себя какие-то непонятные люди. Но при этом человек выполняет замечательную миссию – он просвещает, поэтому ему хорошо, поэтому приятно. И резкое противопоставление нынешнему времени, когда статус школьника «с айфоном» становится выше его собственного, и родители становятся внезапно мерзкими, они не пьяницы, они мерзкие просто потому, что у них статус несколько иной, отличный от учительского.

Александр Казанков:

Прошу прощения, хочу немножко переместить фокус дискуссии. Представьте себе, что культурная память – это огромный массив информации, ну колоссальный массив информации, он охватывает все от нижнего палеолита до гибридной войны на Украине. И вот эта огромная масса материала лежит и ждет, когда ее кто-то, переходя на фило-

софский язык, распродметит, начнется процесс ее присвоения. И вот материалы этого исследования ясно показывают, что успешнее всего с этой функцией распродмечивания этого массива информации справляется школа и непонятно какие, но передачи по телевизору. Исторические передачи по телевизору, они тоже бывают очень разные: есть шарлатанские какие-нибудь «Загадки истории» на НТВ, есть настоящая образовательная программа по каналу «Культура». Можно ли было их смешивать в одном вопросе, или можно было как-то различить, но это вопрос к методикам. Предлагаю задуматься вот о чем: почему школы? Первый ответ лежит на поверхности – это специально созданное дисциплинарное пространство, которое работает именно так: выполняется периодическая экзаменация, оценивания, ранжирования, мы видим те самые фуколдианские практики, которые в данном случае эффективны. Они же, вполне возможно, порождают некоторое отчуждение, обратите внимание, недоверие к тому, кто тебя дисциплинирует, тебя заставляет, тебе навязывает – ставится блок. Менее очевидно для меня, почему телевизор? Может, кто-нибудь попытается предложить гипотезу?

Реплика из зала:

Сейчас, действительно, видеообразы более агрессивны, и они влияют на то (сейчас какие-то распределения смотрела), как люди воспринимают информацию, откуда они ее берут, и сейчас очень большой объем информации, в принципе, не об истории, а в принципе, идет через видеообразы, utube и все остальное, это как раз средства такие, каналы, которые распространяют эти видеообразы. Изображение и видеообраз более легки для освоения, поэтому, где бы люди ни брали информацию, это более легко усваиваемое что-то. И когда тебе рассказывают, ты можешь как-то соотносить то, что ты знаешь, с рассказываемым и показываемым, поэтому люди к этому чаще обращаются. Сейчас книги и вообще длинные тексты не особо принимаются. Чем моложе люди, тем они меньше склонны вообще читать.

Александр Чашухин:

Коллеги, напомню о советском опыте. Откуда все знали про 18 век? Фильмы смотрели, там люди в париках ходили. Я не представляю себе Ивана III, Василия II, а Петра I, Екатерину II – вот мгновенно образы возникают. Визуальность и тогда работала.

Андрей Кабацков:

Нет, коллеги, давайте не будем придавать в телевизор уникальный статус. А я немножко, лет на 20, назад предлагаю заглянуть и вспомнить такой феномен, как книги «про историю» в начале 90-х, которые издавались по подписке, этого замечательного автора, Валентина Пиккуля. Очень замечательный феномен: в эпоху этой некой социальной катастрофы, неких переживаний, когда подвергается, действительно, деградации привычный мир, тут происходит обращение к этому воображаемому прошлому. Вот здесь мы и видим конструирование. Давайте отличать этот процесс конструирования, происходящий в некие особенные моменты, от простого воспроизводства сконструированного.

Реплика из зала:

Я имею в виду, что конструирование начинается, когда человек начинает пересказывать.

Андрей Кабацков:

Действительно ли сейчас мы наблюдаем, вот сейчас мы наблюдаем конструирование, переосмысление, смену интенций? Если мы это наблюдаем, давайте определим институт, который выполняет эту роль. Мне кажется, здесь специалист-историк может вспомнить дискуссии последних лет, десятилетий об учебниках истории, то есть какую-то важную функцию стал играть институт школы. То есть некая передача, трансляция.

Андрей Бушмаков:

Прошу прощения, что вклиниваюсь. Может быть, это не только уроки истории, не только учебники? Вспомним советский опыт: школа – это еще и всякие внеклассные мероприятия. Школа – это школьный музей, который создавался почти в каждой школе. Школа – это пионерская дружина, которая носит имя героя Советского Союза, не важно – какого именно. Героя, кстати, выбирали по определенным стандартам. Преобладание героев, скажем, из Великой Отечественной войны характерно для «эпохи застоя» - это была обязательная практика. Это всевозможные выезды, работа поисковых отрядов. То есть школа – это целый набор институций. Это помощь ветеранам. Это много всего. И, собственно говоря, в теории, когда институт памяти начинает эффективно работать? Когда человек, лишенный личного переживания прошлого, уже в силу того, что социальная память прекратила действовать, вовлекается в действие этих институтов, когда

он участвует в каких-то церемониях и ритуалах: торжественных, каких-то трагичных. Когда он стоит с автоматом у памятника, «Вечного огня». Когда он марширует, старательно стуча ботинками, как полагается настоящему солдату.

Вот когда эти институты начинают действительно вовлекать... В общем-то, Германия делала то же самое, но несколькими другими способами. Школьники там не просто ходят в музеи, они ходят в музеи на весь день. Они совместно с музеями участвуют в различных проектах. Скажем, вот в Нижней Саксонии школьники делают глиняные таблички сами с именем погибшего советского военнопленного. Кроме того, чтобы изготовить табличку, они еще и изучают биографию этого военнопленного. Пытаются найти через интернет его родственников и так далее. Итогом является церемония, в ходе которой собственноручно сделанная табличка помещается в специальное место на мемориале. То есть, здесь уже не просто ребенок, которого пригнали на экскурсию, который эту экскурсию отбыл и пошел смотреть футбол или играть в этот футбол. Тут то же самое, как с футболом. Мы можем знать, что такое футбол – это 22 мужика пинают один мяч на поле размером столько-то на столько-то, но это нам не особо важно, пока мы не станем болельщиками за любимую команду. Вот когда мы начинаем по-настоящему переживать, попадет этот мячик в ворота или не попадет, вот тогда возникает эмоциональное отношение и тогда возникает выход на возможную идентичность, когда мы можем сказать: «Кто ты такой? Я болельщик вот этой команды. Я за нее вам сейчас буду бить по лицу, если вы что-то плохое про нее скажете». Вот это и есть идентичность. Идентичность современного человека может конструироваться по-разному: со стороны профессии, со стороны – чего угодно. Со стороны прошлого тоже может.

Константин Титов:

У меня вопрос в дополнение. Действительно, насчет эффективных институтов, которые конструируют эту память, эту реальность. Вот, согласитесь, коллеги: с 1985-го до конца 90-ых вообще-то шла такая мощная волна такого критического и, извините, может быть либерального пересмотра нашего исторического прошлого. И про Иосифа Виссарионовича было много сказано и написано. И ведь ничего не сконструировалось! Как будто этого ничего не было. Вот сейчас вот, извините, смотришь телевизор и такое впечатление, что этих лет не было. У нас опять застой.

Александр Чашухин:

Я по поводу школы добавлю. Просто сейчас опять же приходится сталкиваться с современными учителями. Очень любопытно, как они совершенно по-разному воспроизводят: как только речь заходит о едином школьном учебнике в устном разговоре – они начинают ругаться, критикуют ЕГЭ; как только приходит задание написать какое-нибудь эссе на тему проблем в школе и так далее, все – четыре раза президент, единый стандарт, как замечательно и так далее. То есть мне кажется, очень сложная раздвоенность и нельзя так однозначно судить: сработало – не сработало. Человек способен жить в двух-трех измерениях.

Александр Казанков:

Речь шла о школе, но как-то был забыт интересовавший нас технологический аспект. Как бы это сделать? Мне кажется, тут Андрей Валентинович совершенно правильно подсказал несколько возможных рецептов, пожеланий, принципов. Первый принцип – личное участие каждого. Человек должен осваивать какие-то формы деятельности, а не просто находиться в дисциплинарном пространстве. Второе – два года назад мы вместе с ним участвовали в российской экспедиции Германского народного союза по благоустройству воинских кладбищ. И вместе с немцами обустроивали воинские кладбища и кладбища военнопленных, репрессированных. Ездили по Пермскому краю, и я видел, как эти добрые немцы чистят, красят наши мемориалы. Не просто видел – я участвовал в этом процессе и чистил, и красил вместе с ними. У них как-то это отработано, и они понимают, что это важно. И, второе, на что хотелось бы обратить внимание: если мы хотим конструированное представление о прошлом – оно не должно быть абстрактным. Это не должна быть статистическая таблица, и динамика выплавки чугуна, и количество авиамоторов, поставленных для наших доблестных летчиков в годы Великой Отечественной войны. Люди понимают человеческие истории. Люди слушают истории о людях. Поэтому, да – история с именем одного советского воина. Именно имя одного репрессированного человека. Как показано в предложенном нам исследовании, школа работает. Но она работает недостаточно эффективно, могла бы, конечно, работать лучше. А второй вывод, который напрашивается – он странен, хотя и предсказуем: господа историки должны становиться медийными фигурами. Мы должны становиться лицами в телевизоре. Мы должны превращаться в Эдварда Радзин-

ского, который пересказывал всем известные вещи, нам – профессиональному сообществу историков, но неизвестные публике. Делал это эмоционально, ярко, поводя руками в воздухе, восклицая. И это очень нравилось. Это как конструируется прошлое, по-хорошему конструируется. Готов узнать ваше мнение. Спасибо.

Андрей Бушмаков:

На мой взгляд, Марк Алданов ближе к идеалу. Но это личное.

Как создать эмпатию у тинейджера, которому вся эта история, на самом деле, не очень интересна? Через личную историю, как это делают в Германии. На примере конкретного сверстника. Вот был еврейский мальчик или девочка. Вот его семья. Фотографии, вещи. Вот его школьная тетрабочка. Вот он ездил в школу на трамвае. Жили они в этом доме. А потом ему запретили ездить на трамвае. Почему запретили? А евреям запретили ездить на трамваях. И вот так вот, шаг за шагом, вся эта история со страшным концом. Но она начинается просто: семья, детство, тетрабочка, фотография, он. То есть создается некая эмоциональная связь. Мы можем сказать: 27 миллионов погибших... Чем 27 от 47-ми отличается? Да ничем. Это какая-то большая цифра, абсолютно не представимая образно. А вот история этого конкретного мальчика, погибшего затем в Аушвице: что он прошел, что случилось с ним, с его семьей. А дальше дается задание. Прослушав все эти рассказы, экскурсии, немецкий школьник получает задание: собрать материал в том же музее, в той же экспозиции найти, выписать, создать какую-то анкету. Затем он это все перескажет, а затем он поучаствует в каком-то ритуале, в какой-то церемонии. Потому что здесь важна вот эта практика: включение человека в какие-то практики. Когда это все более-менее гармонично сочетается, то формируется и здесь есть какой-то смысл, который человек видит сам. Здесь есть его какая-то личная деятельность, какой-то его личный вклад в работу этого института памяти. Тогда он, институт, работает.

Работа мест памяти – она ведь технологична. Скажем памятник жертвам политических репрессий, в Перми поставили в скрытом месте на краю лога, выглядит он как бетонная конструкция – техническое сооружение на краю лога. Может ли быть настоящий памятник вот такого вида сооружением? Он не вписывается в нашу традицию. Начиная с материалов, из которых он сделан. В рамках нашей традиции, из каких материалов должен быть сделан монумент? Благородных: гранит, бронза. Если посвящен действительно важному событию.

На примере Перми очень хорошо видно, как памятники героям Второй Мировой войны мигрировали в центр города. К 85-му году процесс был завершен. Памятник поставили в центре города. Чем центральнее место, тем важнее событие. То есть здесь ряд простых, очень технологичных вещей, который в Германии, в общем-то, давно уже освоили, а вот у нас они почему-то то ли игнорируются, то ли...

Константин Титов:

По поводу технологий. Как-то фюрер сказал, или ему приписывают эту фразу, но звучит фраза так: «Из социал-демократа никогда не выйдет настоящего нациста, а вот из коммуниста всегда». Я думаю, что здесь вот о чем речь идет. Почему из коммуниста всегда выйдет настоящий нацист? Потому что технологии у них одинаковые. Содержательное наполнение разное: тут мы кричим толпой про одно, тут мы кричим толпой про другое. Но мы привыкли кричать толпой. Понимаете? И вот эти все манипуляции, о которых вы рассказывали. Ну, это же манипуляции? С людьми. Я беру маленького ребенка, включаю его в какие-то ритуалы. Пятиминутка ненависти. Это все из одного ряда. Понимаете эти технологические штучки? Я так полагаю, что при помощи этих технологий, если завтра тумблер переключат, то при помощи этих же технологий они очень быстро опять в колонны встанут. Так что мне вот как-то эти технологии манипуляционные – опасение вызывают.

Андрей Бушмаков:

Мы можем тогда отказаться от педагогики, поскольку тут процентов на 90, я подозреваю, тоже речь идет о технологиях, которые близки к тому, что мы описываем. Эти технологии – они не всемогущи. В той же Германии сейчас, я считаю, когда я это видел... Ну, скажем, я видел, как человек реально плакал. Это по поводу того, что теория Ассман – это не просто теория. Человек, который попал под действие этих институтов, он плакал, слезы были настоящие, я не думаю, что он кривлялся. Но сейчас, я думаю, все-таки мы в Германии общались с теми людьми, которые очень сильно вовлечены в это дело. Это работает, я думаю, процентов на 30-40. То есть глубина и сила воздействия, они очень относительны.

Насколько работало формирование советского школьника патриотом, комсомольцем и прочим в эпоху с 65-го по 85-ый? Там, дай Бог, чтоб пять процентов в серьез воспринимало. Ну, я не знаю, сколько

это в процентах. Проценты вычислить сложно, но мы по результату знаем, что в 91-ом году большинство этих людей, прошедшие советскую школу и все эти институты, они оказались не настолько любящими свое советское отечество...

Андрей Кабацков:

Да. То самое знаменитое исследование иммигрировавших в Америку советских граждан, которые очень любили все методы советской власти. То есть методы вот этой мобилизационной политики и отдавали им приоритет перед свободным выбором. Нет, здесь, собственно, педагогическая технология. Технология формирования идентичности, восходящая к традиции Дюркгейма: солидарность, ритуал, смыслы. Поэтому я здесь с Константином Викторовичем не соглашусь, что эти люди могут сменить один лозунг на другой. Но дело в том, что когда мы сосредотачиваемся на технологиях, институализированных в рамках школы, мы почему-то не замечаем, пропускаем другие технологии, как-то не обращаем на них внимания. Я говорю о мифотворчестве. Эта технология, может быть, скорее, медийная. Но мне кажется, она базируется на формировании социально-иерархизированного представления об обществе: есть начальник, который принимает решение, есть подчиненные, то, что я называю офисным сообществом или новым предприятием с эксплуатацией рабочей силы. И вот эта-то технология, мы на нее не обращаем внимания, тоже работает. И мы получаем на выходе эффективных менеджеров, властвующих персонажей, вождей.

ПАМЯТЬ И ИСТОРИИ – ДИАЛОГ КУЛЬТУР

заключительный круглый стол

Олег Лейбович:

Речь пойдет о диалоге. На самом деле не диалоге между историей и памятью. Метафоры красивы, но с метафорами невозможно работать. На самом деле, поговорим о диалоге между историками и культурологами: первыми, которых интересует, прежде всего, что там и как было в прошлом; и вторыми, которых интересует, как это прошлое преломляется в поведении, в сознании, в сегодняшней культуре сегодняшних людей.

Так вот, возникает вопрос, можем ли мы наладить нормальную межнаучную коммуникацию. Я имею в виду людей, которые профессионально занимаются памятью. То есть реально заниматься памятью – это не вспоминать. Это интерпретировать. Это выяснять. Это понимать, каким образом она конструируется, каким способом она переживается, как она сегодня воспроизводится, при этом всегда в голове держа, что никакого общества у нас нет, а есть десятки или сотни сообществ, в каждом из которых циркулируют свои собственные памяти, телевизионным сигналом поддерживаемые в каком-то динамическом равновесии. И, может быть, школьным учебником, с другой стороны. Не могут же действительно врать два миллиона школьных учебников! Кто-нибудь из них все равно должен сказать правду. Это скажем, первое.

То есть вот – один и тот же сюжет, все-таки прошлое, и два различных подхода. Имеем ли мы возможность объединять усилия или хотя бы, действительно, просто найти язык для взаимопонимания?

Константин Титов:

Приведу пример про социологов. В какой-то книжке, никак не могу ее отыскать, подборка цитат у меня есть ведущих социологов. Макс Вебер и ряд других классиков. И все они говорят об одном, что разделение историков и социологов – довольно странное. Один владеет методом, другой владеет фактами. Ну, поскольку тогда полевые исследования были не очень развиты. И вот это вот состояние – оно продолжается до сих пор. Потому что, если честно, большинство историков методологически девственны абсолютно. Они идут вслед за фактом. Ну, есть люди, которых слово «паттерн» не введет в ступор, есть такие историки. Но вообще-то вводит. Или «симулякр», какой-нибудь. Я же

помню фразу одного известного профессора, «что историки книжек не читают». Я как-то раньше ее не понимал, ведь историки-то читают книжки: Соловьев и так далее. Потом я понял, речь идет о несколько других книжках. Поэтому тут диалог не просто возможен, я бы сказал, по крайней мере, для историков он просто насущно необходим! Потому что можно вот эти техники исследовательские, методы – принять на вооружение господам историкам, что не оставаться просто вот «пересказывателями» источников, которые они обнаружили в архивах. Это очень интересно. Спасибо.

Выступление из зала:

Олег Леонидович, собственно вопросом уже задал определенное направление дискуссии: то есть историки и культурологи в данном случае, неважно социологи ли это культуры или культурологи, это два сообщества, которые стигматизированы в общественном мнении. Бюджетники, неудачники, кто-то еще, непонятные люди, в отличие от экономистов, юристов. Но, казалось бы, носители стигмы должны сблизаться, да? Но это далеко не всегда происходит. Скорее идет, может быть, в отдельных случаях, такая гонка сервильности, поскольку хочется выстроить не междисциплинарное, а вертикальное «патроно-клиентское» отношение? Я хочу обратить внимание на такой относительно недавний феномен, явление, которое сейчас вот в разных местах возникает: в Москве этого больше, в Перми этого поменьше. Может это фестиваль «Мосты» наваял – существуют некие такие площадки, которые привлекают свою публику, не знаю каким манером, может быть она скучающая, может быть хочет просвещаться, жаждет какого-то популярного языка. Может быть, научного, может быть наукообразного, но, наверно, не сухого академического. И можно назвать это салоном, можно назвать клубом в разных вариантах. Появляются, допустим, потребности у общества «Мемориал» позвать историка, социолога, который прочитает какую-нибудь лекцию, что-нибудь расскажет. И это, мне кажется, одна из таких площадок взаимодействия, но для того, чтобы его организовать, надо снизить уровень академичности, попытаться заговорить на доступном публике языке.

Олег Лысенко:

Развивая тему – в унисон. Однажды, спорили с Александром Боронниковым, по молодости лет, – в чем разница между социологией и

психологией, и я услышал гениальный ответ: разница в том, что существуют разные кафедры. Понятно, что есть свои стратегии отстаивания какой-то своей «научной делянки». Я согласен с тем, что если коммуникация и возможна, то на самом деле, конечно, проблема не в языках, языки учатся просто, проблема в больших интересах. Ну, конкуренция за и ресурсы, в конечном счете, все-таки за ресурсы. А сотрудничество в публичной сфере возможно. Здесь в самую пору вспомнить концепт, который в последнее время приобретает популярность. Майкл Буровой называет его «публичной социологией», я слышал, уже есть и «публичная история» и так далее, и так далее. Ну, поскольку мне ближе «публичная социология», то вкратце напомню, о чем идет речь. Собственно говоря, понятно, что заказчиком интеллектуальной продукции чаще всего выступает государство. В нашем случае в особенности, в первую очередь. Других заказчиков в нашем обществе, на самом деле, маловато. Да, иногда случается, например, что нотариальная палата заказывает большую парадную книгу про историю нотариата. Книга, конечно, шикарная, но боюсь, что в нотариате ее мало кто прочитал и прочитает. Вряд ли это послужило, скажем так, поводом для какой-то социальной рефлексии, идентичности, самоопределения и прочего. На самом деле, западные интеллектуалы, уж извините, что я говорю очевидные вещи, поняли эту проблему достаточно давно. В 60-ые годы, мы помним, как они дружно развернулись в сторону левых взглядов и пошли просвещать общество, формируя новую науку, новые подходы, давая новый язык угнетенным. Новые левые. Возможно что-то подобное у нас? Ну, наверное, возможно. Есть ли у нас те самые сообщества, которые как минимум нуждались бы в них и захотели бы поэтому их слушать? Думаю, они есть. Во всяком случае, обнаружить их нашими инструментами возможно. Вы имеете опыт работы в системе образования и в социологии, по крайней мере.

Я прекрасно знаю, какой отклик у тех же учителей вызывают простые, банальные социологические данные по поводу образования. То есть когда социолог начинает объяснять, как учитель выглядит в глазах родителей и почему он так выглядит. А на самом деле сюжет был очень банальный: я просто проанализировал записи в дневниках, когда выяснилось, что подавляющее большинство записей, которые делают учителя – это ругательные, повелительные и прочие. Ну, стало сразу понятно, почему родитель в школу идти не хочет и в учителе видит

врага. Простая, элементарная, банальная вещь. В принципе, это получает большой отклик на самом деле. То есть потребность у многих сообществ в профессиональных, социальных, культурных, языковых, в неком самопонимании – она присутствует. Видимо, вот здесь и надо искать ту самую возможность сотрудничества, поиска и совместных проектов, которые, может быть, не будут сейчас оплачиваться. Ну, по крайней мере, дадут возможность выйти за пределы резервации.

Андрей Бушмаков:

Я хотел бы по поводу историков и культурологов добавить, может быть то, что, все-таки, язык-то у них близкий. Как и у всех гуманитариев, у этого языка есть серьезные проблемы. Дефиниции, например. Используют одни и те же слова, но с разными смыслами. И, между прочим, среди историков такое случается очень часто, а у культурологов – постоянно. Мне кажется, что образованный современный гуманитарий, кем бы он ни был по номеру ВАКовской специальности, он, в общем-то, знает современные концепты, даже если он не читал Щюца с Вальденфельсом, но все-таки немножко представляет, что такое социальная повседневность, идеи социального конструктивизма как-то овладели уже массами ученых.

Олег Лейбович:

О! Я хочу найти эти массы! Дайте мне эти массы!

Андрей Бушмаков:

Ну, так или иначе, на мой взгляд, это не важно. Вот, действительно, Олег Владиславович сказал, языки-то выучить в принципе не проблема. На мой взгляд, здесь все-таки разница подходов. Вот эта фокусировка зрения на том или ином аспекте реальности, которые изучают в рамках данных норм. Можно сказать, что историк знает, что прошлого уже нет, но его можно реконструировать, опираясь на сохранившиеся источники. Проблема того, что все эти источники врут и искажают, с точки зрения историка, овладевшего, все-таки, основами социального конструктивизма, снимается, поскольку уже то, как эти источники искажают, уже само по себе много чего об обществе может нам рассказать. Культуролог – это человек, который знает, что прошлого уже нет, но есть образы его в сознании людей настоящего. Культура для исследователя в первую очередь связана с чем? С ценностями, с нормами, с этой самой идентичностью, с символами. Если мы говорим об образах, то это, конечно же, символы. Миф – это что? Это

реальность. Ну, она, конечно, иррациональная, она, конечно, образная. И, собственно говоря, это предмет для изучения. Как раз это и есть культура. Поэтому, в принципе, на мой взгляд, сложность в чем? Ну, в общем-то, в том, чтобы культурологи поняли специфику исторического знания и ограниченность его возможностей, ну, а историки, соответственно, как они могут поступать в случае, работы с памятью. Как может выглядеть историк, который вышел из архива, стряхнул пыль архивную и вот – к людям, к людям значит, потянулся. А люди его не хотят читать: он пишет что-то много, длинно, нудно. В общем, людям нужны какие-то картинки яркие, людям нужны герои и антигерои. Людям не нужны бесконечные подробности, объясненные в рамках какой-то теории. Опять же таки очень сложной, поскольку простые теории остались в XVIII веке: теория, которая объясняла социальную реальность через деяния великих людей. Она списана в архив. И, в общем, теории как-то все сложнее и сложнее, а обычным людям их все труднее... По-моему, теория социального конструктивизма и повседневности, субъективного жизненного мира – это достаточно простая теория, но, видимо, даже такая теория – она, все-таки, достаточно сложна. Александр Казанков говорит, что самого Гуссерля читать правильной, но еще, наверно, сложнее, чем пересказы его теории социологами.

Где выход из этого тупика? Действительно, память – это феномен массового сознания. Память историческая на коллективном уровне – она действительно важна для современного общества, хотя, может быть, ее значение преувеличивается. И историки, и культурологи несут тут какую-то профессиональную ответственность за всю ту ересь, которую вываливают тоннами с этих экранов, в этих каких-то изданиях, которые покупают, покупают. Придешь в магазин, а там написано - «История»: полочка, полочка, полочка. И книжки стоят, которые к истории, как к науке, отношения не имеют никакого вообще. Историк, конечно, раздражается, уходит из этого магазина, но вот проблема в чем? Все-таки с памятью можно и нужно работать. И вот опыт развитых музейных стран, он о чем говорит? Конечно, здесь нужен общественный консенсус. Потому что когда в той же Германии к историкам стали всерьез прислушиваться и стало востребовано профессиональное историческое знание по поводу истории XX века? Ну, когда общество всерьез ввязалось в эту полемику о недавней истории. Может быть, эти процессы совпали, но я думаю, что это не случайно. И, конечно, здесь историки здесь не должны сидеть и сложа руки

ждать, когда общество о них вспомнит, заинтересуется и скажет: «А скажите нам, действительно, как это можно реконструировать с точки зрения современной науки?» Конечно, пока сейчас общество говорит: «Вы же не говорите нам всю правду, а мы ее сами знаем, мы эту правду знаем». Ну, если они «всю правду знают», историкам тут действительно делать нечего. Они слышали какого-то умного человека, который эту правду объяснил вчера по телевизору. Но историки могут выступать консультантами в тех же фильмах, в тех же музеях, если принимать участие, если позовут, конечно. Историки могут писать книжки. Среди нас присутствуют некоторые историки, которым это, в общем, дается. Я считаю, это редкий дар: популярно писать о сложных вещах. Не используя никакой птичий язык из социологии, не из чего другого и в то же время давать популярные книжки... Ну, я имею ввиду те слова, которые публика, в общем, не воспринимает.

Олег Лейбович:

Коллеги, я бы не согласился с Андреем Валентиновичем в одном пункте, когда он говорит, что культурологи, как и историки, знают, что прошлое уже ушло, и его нет. Для культуролога прошлое здесь, никуда оно не прошло. Оно присутствует в наших фоновых практиках, которые естественно, все принадлежат вчерашнему и позавчерашнему дню, но вполне актуальны. Оно присутствует здесь в образах прежних героев, к которым относится куда как эмоциональней, чем к ближним современникам, распределяя роли: «Ты черный, ты белый, ты красный, ты еще какой-то». Прошлое с нами, когда один человек заявляет другому: «Я так поступаю, потому что так всегда поступали русские люди, это традиция и так далее». Так что культуролог от историка именно этим и отличается: он знает, что прошлое не умерло и работает с этим не умершим прошлым, которое, естественно, не является, собственно, «чистым» или «историческим». Оно является препарированным, интерпретированным, освоенным, одомашненным, искаженным до неузнаваемости, но, тем не менее, действующим и актуальным. То есть, среди персонажей советского мира есть люди, на которых ставят стигмат в публичном сознании. И эту стигму никто не сотрет. Ты можешь говорить о Ленине, о Сталине и назвать слово «Троцкий» и только Саша Резник улыбнется, а остальные граждане покивают головами: «Ужасный был человек». Помните этот эпизод, когда в Самаре открыли музей Гражданской войны, а там – толи восковая фигура Льва Давыдовича, толи что похуже. И местная епархия

возмутилась: «Кого вы в музей-то помещаете?». Или как слово скажешь: «Петр Великий» - тоже там становится всем где-то все понятно. И отношение к Петру, может быть, сильнее и ярче, чем отношение к Пермскому губернатору, хотя он-то здесь, а Петра, вроде как, и нет давно.

Матвей Писменик:

Но ведь в культуре присутствует и то начало, и может быть более важное. Начало выработки норм, правил. Коррекция их. И некоторое, позвольте, я скажу, слежение за ними. И некоторые рекомендации к культурному житию. Вот у Олега Леонидовича я очень поддерживаю эту идею. Это наука о настоящем, это наука о настоящем. И работать следует тем, кто властвует, тем, кто правит, в значительной степени, основываясь на результатах культурологи. Она еще очень молода? Конечно же! Она очень молода и многое в ней, естественно, недостаточно продумано. Вторгаются в культуру сакральные начала. Российская культура сейчас, это не столько светская, быть может, а? И так, я повторяю, это очень важно, друзья мои, и здесь немногие присутствующие культурологи, по-моему, должны высоко держать голову. Посыпают себе голову пеплом пусть историки. Это наука, несомненно, все более и более актуализированная. Другое дело, что власть, на то она и власть, чтобы властвовать без науки. Но это очень важный момент, друзья мои. Все-таки самосознание, самоидентификация как культуролога, она должна в нас поддерживаться, усиливаться, студентам передаваться в какой-то мере.

Олег Лейбович:

Время собирать камни. Камни раскиданы на большом пространстве друг от друга. На самом деле «камни» - это понятно, что метафора. Людей, которые мало читают друг друга, мало друг друга понимают. Все время стараются закрыться в некоторые анклавы. Это старая история. Это не история последних десятилетий. Есть прекрасная статья Алексея Береловича «Культ личности в поздней советской науке», где, в общем, об этом очень недурно и неплохо написано.

Так вот, время клубов. И вот эту клубную жизнь, ее тоже надо создавать. Создавать ее надо, в общем, в академических рамках: есть два варианта. Один, старинный, - научная конференция: мы приготовили доклады, разбили на пленарные заседания, секции. Выслушали друг друга. Ну, или не выслушали. Во всяком случае, их произнесли. Ну, в

общем, и разошлись. Вот эта техника сегодня мне кажется не просто устаревшей (старая техника, бывает, хорошо работает), а совершенно неэффективной. Сегодня мы опробовали другой вариант. Назвать это очень новой техникой, наверно, нельзя, потому что круглые столы уже давно вошли в реестр конференций. Но это все же несравненно более эффективная технология, когда вся конференция, объединенная общей темой, разворачивается как серия дискуссий равных участников, желающих и умеющих высказать собственное суждение по тому или иному вопросу. Вступить в полемику. Не побояться возражать и не обидеться на возражения. Иначе говоря, найти общий язык, обозначить собственные пробелы непонимания или некие сложности, и двинуться дальше, собирая и аккумулируя новые знания. И быть готовым этими знаниями делиться с коллегами в сугубо открытом, диалогичном, пусть даже конфликтном, режиме.

Олег Лысенко:

С одной стороны, надо поднимать престиж социальных наук. Прозвучало, не так ли? Аутсайдеры и прочее. С другой стороны, надо выходить из резервации. Соединяя две идеи, что мы получаем? Получаем некую идею такого сообщества, престижного. Этаких «народных академиков». Без отсылки понятно к кому. Которые при всем том берут на себя некую обязанность, как в «Колледж де Франс», периодически выступать перед большой публикой, с большой лекцией на тему своих исследований.

Олег Лейбович:

Одно не исключает другое. Я имею ввиду, что даже когда мы выступаем перед публикой, это не часто бывает, но все-таки бывает, мы могли бы учитывать мнение друзей, мы могли бы учитывать мнение наших оппонентов, могли бы учитывать мнение того сообщества, которое для нас будет реально референтным, реально авторитетным. То есть, говоря что-то и преподнося собственные взгляды, помнить, что, во-первых, ты не все знаешь, и не все твои суждения разделяются людьми, чьи знания ты тоже уважаешь. Иными словами, вот эта клубная система представляется первым шагом для создания корпорации. Той корпорации, в которой, в конечном счете, формируется определенный этос. Этос гуманитария, этос исследователя, этос преподавателя, не способного совершать низких поступков, хотя бы в пределах исполнения своих обязанностей. И если мы на этот путь ступили, то у

нас есть некоторая возможность пройти его. До конца не мы пройдем - следующие пройдут до конца.

Олег Лысенко:

Так, собственно говоря, это и подразумевает. Корпорация подразделяется на, как минимум, двух членное деление: есть ядро, есть подтягивающаяся периферия. По-другому скажу. Есть эталонное поведение, и есть те, кто на эти эталоны равняются. Эталоны, понятно, что должны быть. Второе – корпорация рождается ритуалами. Тут уже Тургенева поминали.

Александр Чашухин:

Нет, петь я не буду. Я напомним, был такой фильм Феллини «Репетиция оркестра». Если, кто не смотрел, там играет оркестр, дирижёр-режиссер, который заставляет их бесчисленное количество раз повторять, повторять одно и то же. Постоянно недоволен. В конце концов, они его свергают. Тут выясняется, что тональность и прочее у всех разные. Они начинают конфликтовать, там стена рушится и прочее, прочее. И, в конце концов, заканчивается такой контрреволюцией. Они снова жаждут какую-то сильную власть, режиссер возвращается, все примиряются, и он снова начинает...

Я считаю, что время симфоний, когда мы можем создавать некий общий фон, играя на разных инструментах, прошло. Я считаю, что настало время джем-сейшенов, когда каждый играет какую-то партию, какое-то небольшое соло, но при этом, как бы, в режиме такого... Не знаю, как это называется на языке музыки: полифония, диалог и так далее. У меня все.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Гнедовский Михаил Борисович, кандидат исторических наук.

Кабацков Андрей Николаевич, кандидат исторических наук, доцент. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», г. Пермь.

Кутдусова Виктория Альмировна, магистрант кафедры культурологии и философии Пермского государственного института культуры.

Сушек Галина Владимировна, студент кафедры культурологии и философии Пермского государственного института культуры.

Тройчун Ксения, студент социально-гуманитарного факультета Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», г. Пермь.

Тульчинский Григорий Львович, доктор философских наук, профессор. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», г. Санкт-Петербург.

Чудинова Мария Михайловна, кандидат культурологии, доцент кафедры культурологии и философии Пермского государственного института культуры.

Шушкова Наталья Викторовна, кандидат социологических наук, доцент. Независимый исследователь, Nashville, USA.

Научное издание

XX век: культура памяти

Материалы кмежрегиональной научной
конференции

«XX век: культура памяти
(рефлексии и образы)»
Пермь, 17 июня 2016 г.

Технический редактор: Н. В. Злобина

Подписано в печать 30.12.2016. Заказ 42/2016.

Формат А5. Гарнитура TimesNewRoman.

Усл. п. л. 8,25. Тираж 100 экз.

Редакционно-издательский отдел УНИД
Пермского государственного института культуры
614000, г. Пермь, ул. Советская, 102, оф. 101